

Зинзивер № 4 (136) 2023



2023
Санкт-Петербург

**ЖУРНАЛ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХІ ВЕКА, СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»**

**Издатель Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(генеральный директор Евгений Степанов)**

Председатель Редакционного совета
Тамара Буковская

Редакционный совет
Тамара Буковская, Евгений Степанов,
Ольга Денисова

Соредакторы:
Ольга Денисова / проза
Евгений Степанов / поэзия

Редакция
Галина Илюхина
Арсен Мирзаев
Фёдор Мальцев
Валерий Мишин

Адрес:

**Союз писателей ХХІ века
(сайт www.writer21.ru)**
Бизнес-центр «Калейдоскоп»
Россия, 115230, Москва, Хлебозаводский проезд,
д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)
Редакция журнала «Зинзивер»
Степанову Евгению Викторовичу

Союз писателей Санкт-Петербурга
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, дом 22-б
Редакция журнала «Зинзивер»

**Сайт журнала: <http://www.zinziver.ru>
Эл. адрес редакции: zinzivier@mail.ru**

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	4
--------------------------	---

ПОЭТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Валерий СКОБЛО. Схватка тьмы со светом. Стихотворения	5
Михаил КУЗЬМИН. Под диктовку инстинкта. Стихотворения	14
Владимир БОРИСКИН. На перепутье трех миров. Стихотворения	26

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Анна ДОЛГАРЕВА. Под этим небом. Стихотворения	32
Елена КРЮКОВА. Отспустать нельзя. Стихотворения	36
Евгений МИНИН. Стихотворения из книги «Конфуций натошак»	44
Ян БРУШТЕЙН. Минута тишины. Стихотворения	46
Ольга ИВАНОВА. босфор, я дарданелла! Стихотворения	50

ПРОЗА

Александр МЕЛИХОВ. Названный сын. Рассказ	57
---	----

ИШТУДИИ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. Реалист в высшем смысле (Феномен Ф. М. Достоевского) ..	65
Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. Хрустальная проза Константина Паустовского	72

ПАРОДИИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ И ДР. ПОЭТОВ

Евгений МИНИН. Пародии	80
------------------------------	----

РЕЦЕНЗИИ

Александр Гумённый, «ИНЕТ_СОИТИЕ» (Александр В. БУБНОВ)	
Евгений Минин, «Конфуций натошак» (Фёдор МАЛЬЦЕВ)	82

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги и читатели!

Видимо, так устроен этот несовершенный мир. Государственных пряников на всех не хватает. «Зинзивер» никогда не получал помощи от государства. Но мы не унываем и продолжаем заниматься своим делом. И дело наше — убежден — доброе и необходимое. Потому что писателю, прежде всего, надо печататься. А читателю читать хорошие стихи и прозу.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Поэт, прозаик, публицист. Родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в НИИ Ленинграда-Петербурга. Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту» (СПб, 1992), «Записки вашего современника» (СПб, 2011), «О воде и воле» (СПб, 2015), «За тайной печатью» (СПб, 2017), «Отплытие» (Торонто, 2022). Член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1993). Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония и др.) литературной периодике. Основные публикации последних десяти лет в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Новый журнал», «Новый мир», «Новый свет», «Сибирские огни», «Слово\Word», «Урал», «Номо Legens», «Юность», билингве «Антология русской поэзии начала XXI века» (УМСА-Press) и многих других. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013 и 2016), дипломант литературной премии им. А.А. Ахматовой (СПб, 2015), 4-е место читательского рейтинга Журнального Зала за 2019 г., лауреат международной премии им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2020), лауреат журнала «Чайка» за 2021 г. (номинация «Поэзия», Вашингтон). Живет в Санкт-Петербурге.

СХВАТКА ТЬМЫ СО СВЕТОМ

* * *

Ночь... гроза... Но стихла

схватка тьмы со светом.

Я обоим им чужой вполне.

Потому что чуть не умер этим летом —

Не до войн небесных было мне.

Вот и эта протекла сейчас по небу.

Разве этот бой я звал сюда?

Недоступен радости и гневу

В мире, где чужой я навсегда.

* * *

Жизнь прошла, и это очевидно.

Время притушить свою свечу.

Мне не горько... даже не обидно,

Вечной жизни даром не хочу.

Завершу на этой грустной ноте,

Чтоб без страха за порог взглянуть.

...А пройти дорогой всякой плоти,

Думаю, и есть достойный путь.

Я проснулся часа в четыре —
За стеной уже дети не плачут,
не лает собака,
А с вечера, как заливались, однако.
Даже звенит в ушах, так тихо в квартире.

Не засну, но вставать не буду.
Страхы меня не мучат,
ужасы отошли в сторонку.
Чего мне бояться: рвется там, где тонко,
А если тонко везде — сразу повсюду.

Не засну, но вставать не буду.
Страхи меня не мучат,
ужасы отошли в сторонку.
Чего мне бояться: рвется там, где тонко,
А если тонко везде — сразу повсюду.

А повсюду — это мгновенно,
Значит, не страшно:
без слез, ложных надежд, жалких страданий
И без пустых сочувственных вздохов,
Уже так доставших — скажу откровенно.

А повсюду — это мгновенно,
Значит, не страшно:
без слез, ложных надежд, жалких страданий
И без пустых сочувственных вздохов,
Уже так доставших — скажу откровенно.

Покуда писал я в блокноте,
Мне полегчало,
и за окном, кажется, посветлело,
Стишки — и не просишь, такое ведь дело,
Помогут при любом судьбы повороте.

Про стихи — отнюдь не примета,
Скорее, простая реальность жизни,
ее итога.
Так что, если напрячься чуть-чуть, немного,
Того и гляди — доживешь до рассвета.

Будучи атеистом до мозга костей,
Промотавшимся до последней заначки,
Я не жду милостей ни от Бога, ни от властей,
Не жду, не прошу, не вымаливаю подачки.

Вера, по-моему, нечто вроде травы,
Пробивающейся из всякого праха.
На ничье милосердие не уповаю, увы.
Все меньше во мне надежды... Надежды и страха.

Т.е. меня можно и засадить в тюрьму —
Мне это будет, в общем, по барабану.
Даже увидев мира изнанку и бахрому,
Я справедливости доискиваться не стану.

Но не все так просто, когда идет война...
И какой уж там атеист под обстрелом?
Здесь и я помолюсь... так оно во все времена
Между жизнью и смертью... прочим нехитрым делом.

* * *

Воспевая все прелести рая,
Распинаясь в любви перед Богом,
Я всего лишь стою у сарая —
На участке от века убогом.

Сокрушая все мерзости ада,
Сатану башмаком попирая,
Я ловлю в запустении сада
Хоть какой-нибудь отклик из рая.

Дождь бормочет, меня поливая,
Даже смерть убрала свое жало.
Только мышка в траве полевая,
Слабо пискнув, у ног пробежала.

Жаждал я: похвала и награда,
Ждут меня... пусть хоть малая мета.
Но из области рая и ада
Нет ни отклика мне, ни ответа.

Слышу я, как шоссейная лента
Отдается шуршащим машинам...
Кто я есть, чтоб отметить хоть чем-то?
Или все-таки писком мышиным?..

* * *

В пору юности, знать бы, в каком
Шестьдесят... — и не вспомнить — лохматом.
Цел еще был родительский дом,
Еще были райком и местком,
Где вручали награды ребятам

За ударный и доблестный труд
На картошке и овощебазе.
Каждый выбрал тогда свой маршрут.
Я был тоже по-своему крут,
Но и я был подвержен заразе.

Я ее повстречал... был апрель,
Тут возникла она, как химера.
Я открыл и закрыл свой портфель,
Я был трепетен, точно газель...
И она мне представилась: Вера.

Взгляд острей, чем булатный кинжал,
И прическа — подобье короны.
Я качнулся и чуть не упал,
А в крови бушевал, точно шквал...
Впрочем, что тогда знал про гормоны?

Не хочу вспоминать про «потом»,
Оттянулась на дурне по полной.
Изверженье... пожар и потоп...
Медом жизнь не казалась мне чтоб...
...И над дурнем смыкаются волны.

Весь нехитрый ее арсенал
Был испытан на мне в полной мере.
В общем, так я нашел идеал...
Но стишки-то зачем сочинял
На всю голову тронутой Вере?

* * *

Нет, ни вернуться, ни все изменить —
Все бы, как есть, и оставил.
Парок я вижу, заветную нить,
Ту, что мне ткали без правил.

Все переврали богини судьбы,
Все перепутали жрицы.
Правильно — я повторю — если бы
Умер я в детской больнице.

Лет так в 12... в Советской стране,
Где всем дышалось так вольно.
И не узнав, что же выпадет мне...
Господи! Мне ведь не больно.

Нет, проходил не хозяином я,
Путаясь вечно в обидах,
Правду изведав и ложь бытия,
Руку сжимая Аида.

Что же теперь-то жалеть... и о чем?
Стал я и грубым, и резким.
Сильным течением я увлечен,
Но, что уж точно, не невским.

Вижу уже Прозерпину саму,
Нить обрезающих Парок
И погружение в вечную тьму...
Тоже не худший подарок.

* * *

Мне не надобно рая для добрых,
А, тем более, — ада для злых.
На земле мне был явлен их образ.
Что сказать? — как удар был под дых.

И еще повторяюсь: мне не надо
Грешным — мрака и света — святым.
Помню, чаял такого расклада —
Растворилось желанье, как дым.

Не хочу очистительных истин:
Мы — как обух, бессильна здесь плеть.
Ведь таких, как мы есть, не очистишь —
...Разве что совершенно стереть.

Я не верую в силу молитвы,
А не то помолился бы всласть
О прощенье для всех после битвы —
Той, в которой сей мир должен пасть.

Окончательной... в ходе которой
Распадется вся ткань бытия.
О прощенье Содомы с Гоморрой...
И людей... всех таких же, как я.

* * *

Несмотря ни на что,
Я смотрю на ничто,
Ощущая ответный взгляд.
И оно — на меня,
Пусть не с первого дня,
Уже семьдесят лет подряд.

Не в гляделки игра...
Мне, пожалуй, пора
Поменяться местами с ним.
Стану тенью его,
Как и был до того...
Все понятно. И мы молчим.

* * *

Увы — ничего, кроме этих стихов,
Надолго остаться не может —
Ни добрых поступков, ни жалких грехов,
Ни тени души твоей тоже.

Уж ты постарайся, над ними корпей,
Отделявай всякую малость,
Чтоб строчка твоя, словно дикий репей,
За память случайно цеплялась.

И, может быть, год или два... или пять
(От вечности только крупица)
Их будут не только друзья повторять —
Совсем посторонние лица.

Утешить не может и этот расклад,
В нем горечи привкус скорее.
И все-таки в мире печальных утрат
Хоть капельку сердце теплеет.

ОТПЛЫТИЕ - 2

Бог таков, как представишь себе ты,
А ты — нет, ты совсем не таков.
Как и ты, Он читает газеты:
Больше нет, кроме вас, дураков.

Он листает подшивку журналов:
Боже мой, все с ума посошли!
Нет ни чувств, ни святых идеалов
На широких просторах Земли.

Вот ты думал, что ты — сочинитель,
А ты — некий морской капитан.
Надевай белоснежный свой китель,
Твое судно укроет туман.

Ты отправлен исследовать фьорды,
Инспектировать утренний бриз.
Даже лорды... английские лорды
Не вольны отклонять сей каприз.

Потому, как в сознании Бога
Не поэт ты, а вольный моряк,
Так с упорством и пылом бульдога
Ты на карты морские наляг.

Навострил тебя в южное море —
Пропaday за понюх табака.
Тайны эти на крепком запоре,
Но не дрогнет Господня рука!

Скажут: да, человек был хороший,
Но поэзию бросил... пропал,
Сгинул где-то за ломаный грошик...
Так и не отыскав идеал.

* * *

Уж в кого я не верю, так в дьявола.
Впрочем, душу продать ему можно.
На поверхности мысль эта плавала,
Да и мыслью назвать ее сложно.

Очевидней всего очевидного...
Это правда всего лишь нагая.
Зараженья опасней ковидного
Вера в то, что нам Зло помогает.

На картинке дракон, страшный в дерзости,
Холодок пробегает по коже.
В нем ты зришь все пороки и мерзости...
И не видишь в себе их самом же.

Ты, желая богатства ли, славы ли,
Сам способен на козни и пытки.
Только корни, поверь мне, не в дьяволе —
Изнутри... в этой мощной подпитке.

Душу тяжким трудом своим выковав,
Норовишь ее сбавить задешево.
Вне тебя нет дракона столикого,
Над тобою лишь звездное крошево.

Так господствуй над злом беспрепятственно,
Грех бессилен, и зло так убого.
Звезды в небе мерцают так явственно,
Зло маячит всегда у порога.

Душу можно продать при желании,
Даже с прибылью, пусть небольшою.
Вот и думай, один в мироздании,
Сам решай, что с ней делать, с душою.

* * *

Выйдя на несанкционированный Пенсионным фондом
Остаток жизни, предваряющий вечный покой,
Нет, я не чувствую себя ослепительным Джеймсом Бондом:
Тайный агент 007 из меня ну совсем никакой.

У меня нет оружия... Разве что перочинный ножик.
Но с ним и перья-то зачинить совсем мудрено.
Думаю, при столкновении меня легко уничтожит
Самый чахлый боец ОМОНа, слабейшее их звено.

Ко мне по суду применима наистрожайшая мера.
Суд, как и всегда, пожалеет уставший конвой.
На Семёновский плац и — гражданская казнь пенсионера:
Пенсионную книжку рвут над бритой моей головой.

* * *

Мне не стать здоровым... богатым...
Жил в тени, и умру я в тени.
Электрическим самокатом
Не воспользуюсь я... ни-ни.

Надо как-то смотреть реальней:
Ну, зачем же пойду я к врачу?
И ни в ближний Космос, ни в дальний
На ракете я не взлечу.

Быть пророком не дал мне Боже,
Но и мне, пусть болтать не с руки,
Кое-что приоткрылось тоже,
Пусть и самые пустяки.

Поэт, журналист, художественный критик. Автор книг «Дом, отапливаемый утопиями», «Дневные листья — ночные корни», «О. поэтах.и. о. поэзии», «Летопись молчания», «Я жалуюсь на свое воображение» (Mi lamento della mia immaginazione — билингва), «Расстояние между галактиками» (Galaksien välisestä etäisyydestä — билингва). Живет в Санкт-Петербурге.

ПОД ДИКТОВКУ ИНСТИНКТА

* * *

Дирижировать грезами —
это лучше,
чем просто
мечтать!

* * *

*Тамаре Буковской
и Валерию Мишину*

Вы с Шекспиром знакомы?
Знаком.
Мы довольно часто общаемся.
Значит, вам более 400 лет?
Вы меня
неправильно поняли.
Когда я болтаю с Шекспиром,
то разговор о возрасте
никогда не возникает.
Я не знаю,
сколько ему лет,
он не знает, сколько
мне по паспорту:
20, 30 или 50.

И какой вывод
вы делаете
из вашего знакомства
с Шекспиром?
Очень простой.
С любым классиком
можно общаться
на равных,
если не заикливаться
на возрасте.
А о чем еще
не стоит говорить
с Уильямом Шекспиром?
Не стоит
расспрашивать его
о трагической любви
Офелии к Гамлету.
Он сразу сердится
и молчит —
столетиями...

* * *

Роман
«Под диктовку инстинкта»
сочинять
никому не надо.
Он пишется сам!

* * *

Могу назвать
сотни книг
которые мною
прочитаны
А книги
с которых
я просто
стирал пыль
в моей памяти
не сохранились

* * *

Пустецы
любят повторять:
пусть хоть все
зарастет пустяками!
Но жизнь от этого
ведь не станет
пустяшнее...

* * *

Травка — феминеет,
солнышко — сластит,
и одна ласточка
с легкостью необыкновенной
делает весну!

* * *

не успеваешь
стать юношей
мужчиной
стариком
не успеваешь
дочитать книгу
досмотреть кинофильм
дослушать музыку

а настроение
все равно
не портится:
как было хорошим —
таким
и остается!

* * *

И даже
приговор вечности
априори подлежит
обжалованию.

Но апостериори
никто не будет
этим заниматься.

* * *

Они
прижались
к друг другу
спинами
и расплакались
Но ни он
ни она
этих слез
не увидели

* * *

Бегущая строка
В районе Бёдер
идут
сексуальные бои
На Грудь
пока все
спокойно
А что в Голове?
Голова
сошла с ума
и выбросила
белый флаг
Седины.

* * *

Я и помыслить
не смел.
Подумать —
тоже было
страшно.
Оставалось
только фантазировать.

* * *

Автобиография в отрывках
и в неточных датах
родился
в 1789 году
окончил университет
в 1812
возглавил
кафедру философии
в 1837
Вышел на пенсию
в 1905
первый сердечный
приступ — в 1914
второй — 1939
предстал
перед апостолом Петром
в 1961
Написал
трехтомные воспоминания
в 1989
они до сих пор
не опубликованы.

* * *

Рассматривая рисунок
Сола Стейнберга^{*}
человек пьющий
человек курящий
и судя
по каменной улыбке
человек разумный

* Примечание: художник Сол Стейнберг (1914–1999) прославился своими «простыми» контурными рисунками, которые по сути своей являются интеллектуальными головоломками и визуальными парадоксами.

* * *

Старые и новые слова, скованные одной цепью
Умовозвышение
Умозаключение
Умопредложение
Умопостижение
Умораздражение
Умовосхищение
Уморасставание...
Неужели навсегда?

**ИЗ ЦИКЛА
«СТАНДАРТНАЯ ЖИЗНЬ МЕЖДОМЕТИЙ»**

Ах, лето!
Эх, осень!
Ух, зима!
Ау-у-у-у, весна!

* * *

Слова украшенные
и слова украденные
отличаются
друг от друга
только
одной буквой.

* * *

Кулинарное открытие
и компоту
нужны
кисельные берега!

* * *

Есть ли такие
игры,
в которые
ты не играешь,
а кажется,
что играешь?

ИЗ ЦИКЛА «СОВЕТЫ ДРУЗЬЯМ»

Очень осторожно
отделите от вопроса
его риторическую часть
и
ждите ответа,
ждите ответа,
ждите, ответа...

* * *

Счастливое хождение
дурака
по мукам гениальности.
Сказка?
Нет,
психологический роман.

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОГО МАНУСКРИПТА

Ближе всех
к твоей голове
не любимая
тобою женщина,
а твой
нелюбимый палач!

* * *

Ищу лирического героя
для своих стихов
а также рассказов
и конечно для романа
который пишется
но чаще все-таки не пишется
десятилетиями.
Из меня
если честно
лирический герой
плохо получается.
Он какой-то
робкий, хилый
и не любит
о себе рассказывать.
Я даже не знаю,
влюблялся ли он,
то есть я,
когда-нибудь.

Вот поэтому
я и ищу лирического героя,
такого, который
может петь,
танцевать,
участвовать
в спортивных соревнованиях
и главное,
умеет побеждать.

Друзья мне советуют
никого не искать.
Время сейчас
какое-то
негероическое.
Все возможные
и невозможные герои
разбежались по соцсетям
обзавелись
никами и псевдонимами
и не вмешиваются
ни в какую поэзию
и уж тем более
в лирическую.

Но я все равно
продолжаю искать
своего героя.
Если не найду,
то начну сочинять
философские эссе.
Для них
лирический герой
не требуется.

В эссе главное,
чтобы мысли
пульсировали.
А они,
мои мысли,
это умеют делать.

* * *

затосковал
по нескольким
давно прочитанным книгам.
зачем тосковать?
снимай их
с полки
и перечитывай!
не могу!
мне хочется
тосковать.
а перечитывать
я не умею.

* * *

Еще один сезон Большой Вечности
Умирает час
Дохнет минута
Секунда вообще не рождается
День уходит из жизни не прощаясь
Неделя становится самоубийцей
Месяц открывает бюро некрологов
Год репетирует конец света
Столетие хоронит Бога

Тысячелетие изобретает небытие
Миллионнолетие
звонит по телефону
и никто
не снимает трубку

* * *

Готовлюсь взять интервью
у своей памяти
Вчера...
Давно...
Когда-то...
Напоминаю тебе
в последний раз...

* * *

И договариваться с бессонницей
было уже бессмысленно,
Ибо она, чертовка,
сама того не желая,
ушла
во внутреннюю эмиграцию.

* * *

Каждое утро
копаюсь
в своей голове:
ищу
искусственный интеллект,
точнее говоря,
его гениальные плоды.
Для меня
это так
естественно!

* * *

Он с легкостью
представил себя
Людовиком XIV,
вошедшим в историю
как Король-Солнце
Le Roi Soleil.

А вот произнести фразу
L'État, c'est moi!
Государство – это я!
так и не смог.

Поэтому его
и не приняли
в театральный
институт.

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВА (1932–1987)

конечно
вне всякого сомнения
бьюсь об заклад
с кем угодно
Ахиллес
догнал бы черепаху
одним махом
ну в три прыжка
не больше.

и двух секунд
не прошло бы
как он сидел бы
на черепашьей спине
и распевал
свои любимые
древнегреческие песни
но он почему-то
взглянул окрест себя,
и душа его
сами понимаете
страданиями человечества
уязвлена стала.

как в таком состоянии
догнать черепаху?
да, никак.
и что мы теперь
имеем?
летят века
проходят тысячелетия
гибнут империи
одна за другой
а он
лучший бегун
всех времен и народов
пытается догнать черепаху...
эх, Ахиллес,
это же так просто,
даже элементарно:
когда устремляешься
к цели
то ради всего святого
не оглядывайся по сторонам.

2022

Поэт. Родился и проживает в Санкт-Петербурге. Участник ЛИТО «Пиитер», член Союза писателей XXI века, автор нескольких поэтических сборников, последний — «Исповедь дилетанта», 2010 г. Стихи публиковались в поэтических антологиях «ANNO», «Аничков мост, 6», «ЛИТО на Звенигородской», журналах «Северная Аврора», «Зинзивер» и «Невский альманах», альманахе «Русскоязычная Вселенная» (Лондон). Неоднократный призер конкурса им. Даниила Хармса.

НА ПЕРЕПУТЬЕ ТРЕХ МИРОВ

* * *

На дворе времена — ни мадьяра, ни турка, ни эллина,
толкователя Торы, и Торы самой — днем с огнем.
Ни костела, ни бани, ни чуда с трубою Емелина,
Лишь Владимир Иванович Бог со своим словарем.

Начинает. Блаженствует. Щурится солнцу. Пишет: Адам.
Словарь оживает: антоним! — Пожалуйста, — Ева!
И пошло и поехало: ада круги. Магадан.
И познания древо.

Сочинит — назовет, глядь, а слово уж в мире царит,
не иначе никак, по Толстому, по Грину, по Пригову,
И бежит по волнам для Ассоль ало-парусный бриг, —
но она нынче — топлес и пляж эпатирует стрингами!

Вечереет. Туманится. Парус белеет во сне.
На пирсе — собачка, и с пирсингом — юная дама.
Что напишут — случится, иного как будто и нет,
разве где-нибудь в спаме.

И плодятся и множатся дроны, фастфуды и гаджеты.
Сочинили-назвали, теперь уже кто — не поймешь.
С тем и жить. В том и плыть... Но поведай нам, боженька, как же ты
от ланит и от персей легко отказался?
Ну что ж...

* * *

На перепутье трех миров я появляюсь раз в сто лет,
из измерений из иных на путь мой льется горный свет.
Не то, чтоб мало мне огня иль сложно выбрать мне маршрут,
но в первый мир — цветов и жаб — меня уж точно не возьмут.
Вот мир второй — гремит, гудит, дрожит на прочном крепеже:
я в нем бродил, как вечный жид, в него не хочется уже.
А третий мир — стихов и грез, так эфемерен и слезлив,
что жить в нем может только бог, под бок соломки подстелив.
Но все же двигаться пора — на свет, на боль, на гнев, на срыв,
Столений выцветший рюкзак с трудом на плечи нацепив.
Не задаваясь, не скорбя, в бейсболке задом наперед
по кромкам скомканных миров — туда, где смерть пока живет...

РЕКА КУЗЬМИНКА

*Ушедшим в небытие селам и деревням
Большое, Редкое и Малое Кузьмино,
Рехолово, Мыкколово и Синды
в окрестностях Царского Села
посвящается*

Что-то бухает, стучит,
бьется за окном.
В зимней ветреной ночи
дышится с трудом.

И взъерошенным котам
у входных дверей,
запорошенным следам
юности моей.

...И река тогда рекла
голосом грудным
из-под толстого стекла
шитых стужей льдин:

— Ты зачем ко мне пришел,
ждешь какой совет?
Нет одноименных сел,
мыз ижорских нет.

Где купание слонов, —
Вод разлив по грудь? —
Грудой серых валунов
Птиц не обмануть.

Помню долгий променад
ярких царских свит,
фалангистов, чей отряд
был в войну разбит.

Жизнь возьмет свои права, —
с горок, без помех,
мчатся дети сызнава,
рассыпая смех...

Вот и ты вдоль берегов
лихо по лыжне
между ив — печальных вдов —
спустишься ко мне.

До тебя один Поэт,
дуэлянт и Бог,
тоже ждал здесь мой совет
на меже эпох.

Стикс не переходят вброд,
уж не обессудь, —
возле стылых черных вод
он закончил путь.

Но не бойся, не горюй,
зла вокруг не множь, —
ты сегодня здесь герой,
ты сегодня муж.

И пускай дорога вниз,
быстротечен спуск,
тайне жизни удивись, —
я — века дивлюсь.

БАДМИНТОН

*Все моторы и гудки, —
И сирень бензином пахнет.
О. Мандельштам «Теннис»*

Гудки, пожалуй, в прошлом, а бензин
не так пахуч, но убивает больше, —
ведь города громадная жилплощадь
сдана под общежитие машин.

Прикончен май клинком календаря,
избыта плесень одичавших улиц,
и цветники щебечут: мы вернулись,
чтоб гнезда-клумбы вить до ноября.

И трепет рыжих вьющихся волос, —
расчехлены ракетки и воланы,
вбежали две подружки на поляну, —
и полетел июньский день вразнос!

Изгиб-прогиб, — так кошка ловит мух, —
волан парит, в полете равный пуху,
но получив ракеткой оплеуху,
в примятых травах испускает дух...

Случайный зритель, робкий вуаер,
под балдахином летнего шалмана
я наслаждаться действием не устану, —
в нем и азарт, и юность, и задор!

* * *

Все было, было, было. Да поросло быльем.
Еще осталась сила, а хватит на подъем?
Так много происходит — вокруг, но не с тобой,
один все время водит — все прячутся в отстой.
Другие — пишут в личку, печатаются в стол.
И там и сям я лишний, и в этом весь прикол.
И в этом вся задачка: здоров и счастлив, сыт,
полю сорняк на дачке, устраиваю быт.
И рыбка золотая — была, давно сплыла,
жужжит, но не летает меж рамами пчела.

На паузе зависший мой видеосюжет —
мальчишно-кибальчишный, не трогает уже.
Забаненый, забытый, — банальностей стена.
Разбитое корыто...
А стирки — до хрена.

* * *

Ползет червяк куда-то. Куда? — Не твой вопрос.
Его дождя стаккато растрогало до слез.
На бой и труд сподвигло, позвало к свету, ввысь:
И тело не погибло, и ливень зашибись!

Он гимн небес услышал и вытянулся в гвоздь,
Хоть «черепом» не вышел, не белой масти кость.
И папа не опарыш, и мама не из звезд,
Землица — не Канары, ползи хоть тыщу верст!

Вот так и ждут бедняги, суглинок беребя,
Какой-нибудь бодяги библейской для себя.
И драйва неземного: потоп, а не утоп!
И скоро в землю снова — рыхлить ее по гроб.

Туннельная рутина, прохладный полумрак...
А я стою у тына — большой такой червяк.
И в землю рановато, и небеса — броня,
И дождь с его стаккато давно не про меня.

Но жить хочу не меньше и маюсь от того.
И в этом я простейший, подобие его...

* * *

На земле — внеземное крошево, —
где-то там наверху мясорубка,
не знаю.
Под землей тоже нет ничего хорошего —
это истина прописная.
И поэтому я убегу в себя,
убегу в себя — не вернусь пока,
буду в мир смотреть, тихо в ус сопя, —
внеземная во мне акустика.

Ни айфона внутри, ни твиттера,
все в согласии, все в гармонии,
не ищите меня на ishite.ru,
ни в Чернобыле, ни в Японии.
Будет сладко мне, будет горько им,
а потом — все с обратной точностью.
Я скажу себе: «Хорошо сидим! —
Скорлупа судьбы высшей прочности!»
Вне меня — все на карту брошено,
все воюют: кто против, кто за —
не знаю,
и во мне, поверьте, ничего хорошего, —
посидел в себе —
вылезаю!

Поэт. Родилась в 1988 году в г. Харькове (СССР). Детство прошло в Белгородской области. Закончила Харьковский национальный университет по специальности «неорганическая химия» (2010), Луганский государственный университет имени В.И. Даля по специальности «политология» (2017), Институт прикладной психологии в социальной сфере по специальности «практический психолог» (2021). По профессии журналист. Лауреат Григорьевской премии (2019), Волошинского конкурса (2022), VIII Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман 2023». Победитель VIII Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» (2022). Лауреат Международной премии имени А.И. Левитова (2021). Победитель VII Международного поэтического конкурса «45-й калибр» (2019), а также и ряда других всероссийских и международных премий. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Нева», «Урал», «Крещатик», «Юность», «Дальний Восток», «Аврора» и др. Член Союза писателей России.

ПОД ЭТИМ НЕБОМ

* * *

мы к осени становимся бессмертны,
такие легкие и полые внутри,
поблекшие, лишённые пигмента,
запоминай же медленность момента
и нелюбимых в зиму не бери.

а этой ночью было: тот, который
(ну, дальше и не надо — тот, который) —
приснился старым, желтым и больным.
как прячут смех под смертным приговором,
вот этим старческим — как передерг затвора —
так жизнь запряталась под остальным.

дыши холодным, и люби, и не надейся,
от равноденствия до равноденствия
впитает глина снега и дожди.
три яблока лежат на полотенце,
такие красные лежат на полотенце,
куда покатятся — туда иди.

* * *

И больше никого не хоронить,
А только вишни собирать в ведро,
Пластмассовое, детское — они
Лежат там с горкой.

И строить новый город на песке,
И будут понарошечные люди
Ложиться спать на белом лепестке —
Давай так будет.

Вон жук ползет, глаза его черны,
Жук красно-черный, именем солдатик,
Не мучь его, пусти его с войны,
Ей-богу, хватит.

И ямка для секретика в земле —
Туда ложатся город, мама, кошка.
Не плачь, не плачь, тебе под сорок лет.
Мы все тут — понарошку...

* * *

Это в августе крутятся, крутятся все ветряки,
Донкихотово время, храни их Господь — Донкихотов.
Я в пожухлые травы жука выпускаю с руки,
И под солнцем горячим усталая курит пехота.

Это жизнь после жизни — но все же вернуться домой
Сероглазые парни, и я ищу верное слово
Заговаривать и отмолить, и поспорить с войной:
Пусть с тобой никогда ничего не случится плохого.

* * *

цвет вереска, небо севера,
да мостки над водой —
в озеро-ярви неведомое.

(а на юге — лиловым клевером
поля залиты;

не думай, как там,
не пой.)

нет здесь войны, выдыхай,

кого могла уже — тех схоронила,
проводила до самой могилы
и дальше в рай.

брызнет под пальцами синим черника,
песня срывается бабьим криком.

(ты моя песня,
нет ничего чудеснее, нет небесней,

ты мой крик.)

я не лошадь, я не бык,
я не баба, не мужик,
ни рожать, ни стрелять не пригодна.
такое мое сегодня.

птицы летят на север, бросая гнезда,
дрожит огонь над лампадою.
где-то над лесостепью падают звезды,
снаряды падают.

* * *

вот это мертвое мое
и мокрое твоё
шальное полюшко поет
поет поет поет

поет на русском языке,
на божеской тоске
и на цикория цветке
жучок ползет к руке

о край березовых ручьев
что сам себе не рад
ложится в полюшко мое
снаряд снаряд снаряд

но я спою про воробья
жучка и муравья
(я только дудочка твоя
Господня и твоя)

и поле отзовется мне
и словно подо льдом
среди разваленных камней
проступит бывший дом

* * *

Цвел подсолнух, круглый, желторотый,
и глядел на запад, за светилom.
Бабушка крестила вертолеты,
Троеперстьем в воздухе крестила.

И они, летевшие за ленту,
голубую реку, реку Лету,
растворяясь на исходе лета
над березами и бересклетом,

Словно становились чуть бесстрашней,
словно бы чуть-чуть неуязвимей.
И парили коршуны над пашней,
и полет все длился стрекозиный.

Смерть ходила рядом, недалеко,
Обжигала порохом и жаром.
А она — за ленту вертолеты
проводжала, снова проводжала.

Поэт, прозаик, искусствовед. Родилась в Самаре. Член Союза писателей России. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская государственная консерватория). Окончила Литературный институт им. А.М. Горького, семинар А.В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Нева», «Новый мир», «День и Ночь», «Берега», «Дружба народов», «Невечерний свет/Infinite», «Бельские просторы», «Нижний Новгород», «Бийский вестник», Za-Za, «Сибирские огни», «Знамя», «Юность», Номо legens, «Октябрь», «Москва» и др. Автор многих книг. Лауреат литературных премий.

ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ

*Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить,
а в том, для чего жить.*

Ф.М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ

голые люди дрожат умирают от счастья лепечут
псалом что не услышит никто никогда
голые люди горят голые свечи
рушатся как под бомбежкой города
голый твой поцелуй руки закинь за шею ему
солнцем смеется рот вот лодка ночная а вот весло
ведь все равно сгаснет голый свет все уйдут во тьму
а вы взлететь в небеса успеете крыло и крыло

голые люди уже летят и земля под ними
тоже летит принакрыта скомканной белой парчой
голые люди впотьмах повторяют имя и имя
видят над койкой старого зеркала срез косой
тихо косятся туда ищут свое отражение
красный костер а вокруг синий бессмертный лед
тихо шепчут голые губы не делай движений
помни никто никогда не умрет

жарко как в преисподней а может в Эдеме
крепче стиснет плоть на прощанье души
голые люди над миром летят надо всеми
кто им нищим подаст хоть бы тень гроша
кто над ними голыми ржет во всю глотку

над беззащитными — творит беспощадный глум
кто на них снизу глядит как на днище лодки
сквозь посмертную толщу
через родильный шум

жарко чувствуй водой землей облаками как жарко
жадно его нагого нагая сильней сожми
жалко до горя стыдно до боли жалко
через зверьи века оставаться людьми
голыми пламенами на железной кровати
голой памятью-позолотой плита гранитно чиста
голые люди все длят и длят объятье
голый Господь слезно глядит на них со Креста

* * *

Не ступай на угли, не сойди с ума.
Изнутри звенит годовой оркестр.
Круг тарелок, литавры, волынки сума.
На галерке нету свободных мест.

Не ходи туда, не ходи сюда.
Там запреты, и сям — то война, то Миръ.
На морщинистой шее — мои года
Камень-бусой пылают между людьми.

Не ступай — в мешке — босиком на снег.
Так и так: сумасшедшая! — окрик твой.
Не гляди на грешника из-под век:
Лучше крепко прижмись седой головой

К ненавидящей боли, хриплой груди,
Слушай ухом пульса органнй мех.
Этот Миръ — всего лишь твои дожди
По щекам, наедине, для всех.

Одинокие роды, хоть народу полно.
Одинокий уход — и хлопнуть дверьми.
Или тихо закрыть. И выпить вино
Одинокого снега между людьми.

Не вари на кухне ни мед, ни яд.
Воссияют плошки ярче знамен.
Эта жизнь родится, умрет стократ.
Лишь тебя не вынут из нежных пелен.

РЕАНИМАЦИЯ

Каждый вдаль уходящий отсюда — преданье.
Каждый вон уходящий отсюда — сказанье.
Каждый плачет, и рот зажимает простынкой,
Где печать лазаретная — словно поминки
По тому, кто лежал здесь, теряя дыханье.
Набирают во шприц зелье, травы и вина.
Обнажают не вены — венцы, копи, стразы.
Я в стерильной больнице, как ангел, безвинна.
Я грешна и грязна, да, любовь, ты зараза.
Да и зло так летуче! Я переболела
Злостью, местью, чужой и чумной черной ложью.
Эпидемья без края, судьбы и предела.
Хуже лести, страшней бездыханного тела.
Ухожу по грязи, облакам, бездорожью.
Я лежу, лязг чугунной той, панцирной сетки —
Распоследний оркестр, хрип и стон партитуры,
Птицы нотами виснут на инистой ветке,
Вон, в окне. Плачу вусмерть, рыдаю как дура.

Ты, земля моя, вновь тяжело захворала.
Ты кладешь корни-руки поверх одеяла.
Стонут люди, чтоб срочно их всех оживили.
Ты, земля моя, льешься больничною лавой
Бесконечных смертей, солонцово-кровавых,
Легких злые ошметки — последние крылья:
Чуть взмахнуть... улететь — или кануть в бессилье,
Безразделье, бесстрашие, безлюбье, бесславье.
Никому неохота во царствие навье.

Эти синие маски, седые бауты,
Эти туго-завязки последней минуты,
Эти мука-скафандры, что снять только ночью,
Да и ночью не снять, стоя спи, ешь воочью,
Это был, и ты в ней — измочаленный доктор,
Ты устал уж молиться, в уколах ты дока,
А в смертях ты неграмотный, нищий мальчонка,
О, подайте минутку, звенящую тонко,
Той старухе, похожей слезой на ребенка,
О, подайте ей жизни шматок, протяните
Между сердцем и Богом упругие нити,
Горше режущих звезд, горячей всех вулканов,
Только врач ты, больная уже бездыханна,
Только врач, и могущество жалких уколов —
Лишь стеклянные сколы.
Лишь в курилке, в засос, на отлет, папироса:
Mortem. Нету вопросов.

Все распяты вы в той оживляльной палате.
На живот повернись! И дыши так ритмично!
Ты корова и лось, ты медведь и синичка,
Лезвие топора новой казни опричной,
Да, ты плюнуть готов в рожу рока проклятье —
Только горе безлично!
Врач, вставай. Ты пойдёшь на беду белой грудью.
Размотай белоснежную марлю безлюдья.
Маска, шлем, кислород. То чужая планета.
Скорой помощи тлеет в огнище карета.
Окна крестит зима. Птицы молча, в остуде,
На зимы белом блюде пернатым ранетом
Застывают, подобны металлу, полуде.
С проводов — во мандорле фонарного света
Гибнут, падают.
Бьются в сугробе, как люди.
Птицы, ветра народец, они ж тоже люди,
Лишь конец — без ответа.

Я лежу вверх лицом. «На живот!» — мне — приказом.
Заболела недаром, кошу рысьим глазом,
Зверьим оком, багровы белки, раскаленны,
В кровеносных сосудах, набрякших влюбленно,
Я ещё вижу Мирь! Он мне — песнею, сказом,
Он мне Библия, ночью Корана алмазы,
Все мои Первокниги, стальные вериги,
Кровохарканье страсти, жемчужные миги,
Повторить не моги, проиграть не могу я
Эту заново жизнь! дай чужую, другую!
Жилы выдрать с корнями! и сердце, и печень!
Пересадка мне легких, горящих, что свечи,
Ах, ещё ведь не вечер,
Доктор, буду я жить?! Я всего лишь волчица,
Тепло брюхо мое, мой волчонок мне снится,
Я деревня, окраина, река и столица,
Я — погибшей Почайной — от злобы отмыться,
Ты сожми мои голые плечи!
Я лежу вверх лицом! Потому что земля я!
Я дышу пред концом, я раскольно пылаю!
Я зверье и птичье, воронье, баба-сойка,
Кройка я и шитье, я охотничья стойка
Покрова на Нерли! гибну в гуле и гуде!
Хриплый колокол мой, он орет: люди, люди!
Медью жжет лазарет! он тату набивает
Изнутри! жизни нет! почему я живая?!

Я теперь родилась?! иль я завтра рождаюсь,
Здесь, на койке больничной, старуха седая,
Золотая девчонка, чудная малышка,
Я визжу талой скрипкой, пищу нежной мышкой,
Грохочу я, литавры в последней Девятой —
На излете заката!
Вот расплата!

Я согласна быть в этой палате распятой —
Я согласна сгореть — стать навеки проклятой —
Обвернули чтоб этой, с печатью, простынкой —
Унесли — и в мешок, что мрачнее суглинка,
Только чтоб, люди, люди, вы живы остались,
Мягче воска и шелка, сильнее лютой стали,
Зеркалами в осколки вы не разлетались,
Чтобы сны не глядели о пьяной печали,
Чтоб детей зачинали, кроваво рожали,
Чтоб любили друг друга — в Раю, как вначале,
На руках чтоб друг друга по-детски качали,
Чтобы струнами арфы январской звучали,
Чтобы дымные войны в меня вы втоптали,
Только чтобы никто больше... в белой остуде...
Белых мошек давя на немом одеяле...
Где труба аппарата змеей расписною,
Вся в узорах письмен — над тобой, надо мною,
Запредельной зениткой, застылым орудьем,
Бесполезною пыткой нависла над грудью...
Люди, люди, о люди...

СКОМОРОХИ

По льдам лазоревым, по рекам многоруким, многорунным, разливанным,
по зеркалам хрустальным, от вина зимнего вусмерть пьяным,
по насту, што отразит — метельной заплатой — только праздники наши,
ой нет, и наше горе клятое, вишь, слезы подносят полною чашей! —

по намоленным излучинам-притокам,
там рыбы вмерзают навек во времен кровеносные тайны-протоки,
в воспоминаний снег, там Царь Стерляжий замер,
в драгоценной толще застыл,
глядит изумленными круглыми жемчугами поверх забытых могил —

по усыпанным хрусткой порошей дерзким крутоярам —
по Кремлям-пряникам, вековым-восковым-ярым —
по дымящим трубам, по ранам-оврагам,

по столбов-башен железной жестокой расческе —
по знаменам, штандартам, стягам,
безжалостно раскромсанным на шелковой крови полосы —

бегут-бегут, прыгая до небес, мои скоморохи —
в шапках с бубенцами-колокольцами, мои зимние пророки!
Мои разлюбезные, любимые озорники!
Сквозь сугробы растущие крапивы-сорняки!

По льдам сапфировым, там спят корабли,
по рекам, застывшим зимнею кикой моей земли,
мимо небес печально проплывшей, мимо небес плывущей,
всегда-вечно сущей, —
бегите ко мне пляской-песней зычной, зовущей!

Ах, катитесь ко мне колесами царскими, златыми...
Я каждого расцелую! Каждого повторю имя!
Даже ежели имени, Господи сил, не знаю...
Да я ж вам мать-сестра, я ж вам родная!

Ах, вот вы и рядом! Мя обступили-обстали!
Пляшите бешеным, вольным ладом на снеговом одеяле!
На алмазном ковре, на серебряной сковородке,
то наглы-дерзки, то нежны-кротки!

Катитесь ко мне, румяной, от радости плачущей, по сугробам...
Любого из вас люблю — до рожденья, до гроба!
Сама кривой-косой кокошник дрожащею дланью в ночи вышивала...
А мне жемчуга-яхонтов все мало было, да, мало, мало!

У реки зальделой брала! У свиристелей хохлатых!
У ясных рассветов... у военных закатов...
У санного полоза, что вдоль по льду —
вперед, не свернуть,
это мои розвальни, люди, на холоду,
это боярский, опальный мой путь!

Это мой староверский крест! Кованый Аввакумов язык!
Дрожь казнящей лазури окрест! Кострища огненный зык!
Ну, бегите ко мне, задохнитесь, мешком упадите на снег —
меня связали из выюжных нитей, а я всево лишь человек...

Я всево лишь баба, скоморохи! Бедная баба, сама своя!
Нет, я мощи земной корка-кроха, зальдельный топор, скол бытия!
Вы — народ мой, а я — ваша песня, сегодня, всегда, вчера...
а ты што стоишь поодаль, скоморошенька, свет-сестра?!

Подойди ко мне! Издаля на Солнце глядеть не с руки!
Беги, вся в огне, задрав Орантою руки — огненные языки!
Катись ко мне, Луна моя, Колесница,
небесный мой Коловрат,
и вместе помчим вперед, ибо прошлое слезным лезвием снится,
ибо нет дороги назад!

Все перебежано! Все переплыто!
Копошились нищие пальцы в сокровищах тяжких слепых сундуков...
Разбивалось мылом склеенное корыто!
Распинали на корявых пяльцах парчовый глаzet грандиозных веков!
Все порвано, все истлело до паутинной жилы...
сгорело в полынном пламени дней...
Сестра, в небеси ты ярко светила —
свети меж земных огней!

Ну, ближе, ближе... бешеная окрошка
мошкары-алмазов, буйных снежинок, зеркального льда...
Так спляшем, две скоморошки,
без танца мы никуда!
Схватившись за руки, не зная броду, в шальной и святой хоровод...
А сказано ж было народом: никто никогда не умрет!

Радость в душе великая! Хмель ледяной — через край!
Сияй, сестра моя, ликом, косой златою сияй!
И пусть балакают, шепчутся, шушукаются, визжат —
мороз гладим против шерсти, целуем нагой закат!

Вражду и гнев я забыла! Обману швырнула мыт!
Выкрикну в небо звонкой силой: теперь ничево не болит!
Теперь я стала — нежные звуки, раскрытые в радость Врата.
Стою, на весь свет раскинув руки: свобода! смех! красота!

Родная, ты белозуба, а косы волнами, рыжей волею, блаженным островом...
Я стрижена коротко, воином, солдатом, царевичем, отроком...
Такая уж я баба — сражаюсь!.. а после боя плачу навзрыд...
Сестра! мы снова Любовь рожаем! потому так слева болит!

Пляшите вокруг нас, скоморохи, вокруг пляшущих дико сестер!
Пляши! Не отвалятся ноги! Горит сугробный костер!
Алмазный, безумный, белый... жгуче страданья клеймо...
Пляши ты, смертное тело! А сердце поет само!

А сердце вы, скоморохи, услышьте, ухо прижав
к дыханью и хрипам эпохи, к расстрельному насту держав...
Забыты распри и ссоры. Война выпита вся. До дна.
Последним праздничным приговором Любовь осталась одна.

Надо льдом желто-медовым, кубово-синим, над малахитом реки
летит красиво и сильно — сломаны крылья тоски —
а вырос размах Рух-птицы, скань лазурного бытия —
одно крыло — ты, сестрица, другое крыло — да я!

Двукрыла Любовь, двусвободна, двувечна! Двуперста, вера и мать!
Двуречна и двусердечна! Двурука — весь Міръ держать!
И так стоим на родной зимней дороге, уже навеки вдвоем,
смеемся и плачем, не боги, две бабы, меж явью и сном,
меж выдохом, вольным вдохом, меж вечной ночью и днем,
и пляшут вокруг скоморохи — на снегу — великим Огнем.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ КНИГИ «КОНФУЦИЙ НАТОЩАК»

ПОЭТ

Поэт неповторим,
 он так подобен чуду,
Беспомощный порой,
 порою — едкий шут.
Порой настолько мал,
 что виден отовсюду,
Порой настолько тих,
 что слышен там и тут.
Не требуй от него
 геройства и отваги,
Он плачет по себе,
 и плач летит во тьму.
Чужую боль несет
 на листике бумаги,
Необходимый всем,
 не нужный никому.

* * *

переводим время летнее на зимнее
переводим время на дела пустые
делаем порою невообразимое
словно нас авансом в Судный день простили
а пока что плаваем в очень хрупкой лодочке
часто удивляясь что всегда не в теме
а признаться честно — все мы переводчики
переводим время
переводим время

ЛАТЫНЬ

Вот и снова в дело пошла латынь —
Homo homini lupus est.
Не скажешь испившему крови: «Остынь!»
И что на земле, как в театре,
вдоволь свободных мест.
Omnia transibunt.
Рассыпется страна,
Предварительно кровью своею умаясь.
А виновата — латынь.
Только она.
O tempora! O mores!

ДОБРОТА

Подобрали собаку на улице,
а кота принесли с помойки,
Мы сделали им прививки
и кормим неплохо, кстати.
А по ночам эта парочка
дряхнет на нашей койке.
А мы с женою на коврике,
который возле кровати.

Поэт, прозаик, художник. Родился в 1947 году в Ленинграде. Юность прошла в Пятигорске. Служил в армии, воевал в 1968 году на Амуре. Работал журналистом, преподавал в вузе историю и теорию изобразительного искусства. Кандидат искусствоведения. Участвовал в создании негосударственного телевидения, возглавлял крупный региональный медиахолдинг. Стихи печатались в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Волга», «Дети Ра», в различных сборниках. Автор нескольких книг стихов. Живопись и компьютерная графика были представлены на семи персональных выставках. Живет в Иванове.

МИНУТА ТИШИНЫ

ВЫЙТИ К МОРЮ

Напоследок мне бы выйти к морю.
Время там судьбу стирает ластиком.
Старый кот, сидящий на заборе,
Вспомнит, и волна облизнет ласково.

Линии все тоньше, небо — легче,
Горы на закате черно-белые.
Душу мне омоет и залечит
Коктебель мой, юность моя бедная.

Сколько было там стихов и нежности,
Этот воздух так и пил бы всласть...
Только с непонятной неизбежностью
Жизнь моя взяла и пронеслась.

* * *

Что-то белое, творожное на лик земли легло,
И повисло, обморожено, у ангела крыло.

Называйся тут хранителем, почти что не дыша,
И невидимыми нитями опутана душа.

Снег чертил скупые линии у моего лица,
Но мои ладони приняли застывшего птенца.

Отогрел его, незрячего, и — в дома теплоту,
Уложил под бок горячему мурчащему коту.

Поутру он в небо вылетит, протертое до дыр.
Может, тихий ангел вылечит безумный этот мир.

ГОЛОС

Мама давно не приходит ко мне —
В муторном сне, в предрассветном огне,
В мороке хвори, в ковидном бреду,
Даже когда за порогом бреду.

Только порой, в подступившей тоске,
В лодке, ползущей по нищей реке,
Там, где, уже задыхаясь, гребу —
Чувствую мамину руку на лбу.

Голос — как ветер над быстрой водой:
«Мальчик потерянный, мальчик седой...»
И растворится неведомо где.

Легкие камни в тяжелой воде.

НЕДОПИТАЯ ЧАША

Друзья поздравляют меня,
Что вынес три четверти века,
Что вера моя в человека
Жива среди льда и огня.

А я затаился в тени,
Невидим для ада и рая.
Мои предпоследние дни
В осенней листве догорают.

Так радует этот тепло —
Горим, значит помним и верим,
Распахнуты окна и двери,
И время дождями стекло.

В нагрудном кармане обол
Хранится для судного часа.
Что я потерял — то обрел,
И ждет недопитая чаша!

* * *

Какие были наши времена!
Мою страну корежило и мяло,
И те, кому по жизни было мало,
Старались отовариться сполна.

И мы вздыхали: только б не война!
Все остальное жгло, но не сломало.
А этот век свое готовил жало,
И поднималась мутная волна.

Куда ведет ослепшая судьба?
А мы все давим из себя раба,
Который крепко держит нас за душу.

Что может на закате защитить?
Жестокий ветер наши лица сушит
И жадно гложет этой жизни нить.

ЧУБУШНИК

Я снова жив, и чудо под окном
Свои цветы, как звезды, раскидало.
Простите, но все мысли об одном:
Как много нам дано — случилось мало.

Жизнь слаще и желанней с каждым днем,
И вкус ее острей, как меч без ножен.
Вот и живи, не думая о том,
Насколько мир жесток и безнадежен.

* * *

Живу от скорой и до скорой:
Кусает время старика..
А надо мной весенней сворой
Спешат живые облака —

Туда, где лезет из-под дряни
Побегов новых дружный ряд.
И где смешливые земляне
О чем-то тайном говорят.

Им предстоит круги и петли
Пройти, не потеряв земли,
От жизни зимней к жизни летней,
И снова — в обморок зимы.

Они не люди, и не ждите —
Мир насекомый тих и прост.
И муравей, упорный житель,
Уже поднялся в полный рост.

Гудит пчела, кузнечик плачет,
Шмель тянет первый сок весны.
И свет вокруг... а это значит —
Всего минута тишины.

Поэт. Родилась в Москве. В 1995 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького, отделение поэзии (творческий семинар Олеси Николаевой и Владимира Кострова). С 1997 г. состоит в Союзе писателей Москвы. Публикуется в периодике с 1988 г.: «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Литературное обозрение», «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новый берег», «Новая реальность» и т. п. Выпустила семь книг стихов.

босфор, я дарданелла!

ИвТ

ноктюрн

в единственное ухо
[у замысла в долгу]
сиди себе да ухай,
пугающим «угу»

широты прошивая,
завзятою совой —
одна душаживая
другой душеживой...

да, нежитью сиамской,
единственной рукой
[в тугой перчатке дамской —
неведомо на кой]

маши́ осатанело
в оконный окоём...

/босфор, я дарданелла!
как слышите? —
приём!

любовь

вслед этой клинописи лиственной
и этой летописи птичьей
в её прелюдии предлинственной
[как водится, одной из дичей]

встряхнуть бы мордор ежественный
уже без грома и без грима
скульнув на глас [едва ль воинственный]
«ау, любимый и единственный!» —
да не велит дресс-код таинственный
литературного мейнстрима

из цикла «стихослужения стезя» (2022)

куплѣты рекламные

1.

всюду — ацкая планета
без уют-и-покой
чѣ нежѣнишся на мне-та
[об-хо-ди-тельный кокой]

всюду — ясная поляна
на поляне, ясенъ пень —
не халява конопляна
а полыни по*пѣнь

то берѣстка, то дробина
двестроки по-над рекой
и сладка — да не любима
всяка — да *нетокой*

рѣфрѣнь:

от медвянава порога
да от сахарныхъ воротъ
всяко — скатертью дорога
[ни денька — наоборот]

с олимпийских этих по́лек
глядь — и стихнет тишина
всё идёт путём, соколик
[озорным путёмъ-зерна]

2.

зеленьлета/зеленьлугу
птицащастья в вышине
вот с какого перепугу
ты не жéнишься на мне

на такой — как луг и лето
как уют и как покой
чё не жéнишься на мне-то —
добродетельной токой

на такой родной и блёсткой
заполóшной, шебутной
с белой кóсткой, с шуткой хлёсткой
то с ухмылкой, то со слёсткой

на планетке этой пlos[т]кой
[с путь-зерно величиной]

рѣфрѣнь

куплѣты нескромные

1.

мима тёщинаго дома
и разбитаго корыта
мима оберa-и-вира
мима мира-и-войны
и атогы и содома
[где судьба недозарыта]
и Творения Кумира
треволнительной волны

и комедии и драмы
и пандóры и randoma
мимо мóрдора и terrы
мима кичи и сумы

мима мама-мыла-рамы
мима думы и дурдома
мима пары и цитёры
мима пира и чумы

рѣфрѣнь:

лягушонка в коробчѣнке
[в мозжечкѣ, в очкѣ, в печѣнке]
~~истеричка~~ авторичка в тайничкѣ
[с авторучкой в кулачке]

~~ацкий ад~~ вятский квас и райский рай-с —
фсѣ для Вас! — такой fix price...

2.

мима мѡра карамѡря
мимо жѡрева и рая
мимо пѡрева хорея
[впадлу палево? — отлѣз!]
над байдой житѣйска моря
эти-тучи-собирая
надземлѣю-гордорея —
я-люблю-тебя-до-слѣзь —

мема, йетища с клыками
мимоѣдяща веками
[нутрянѡ, внутреутрѡбно]
в скором-поезде поез —
чорной-молнии-подобно
некошерно, несъедобно
непотребно, преподробно
и не-сбы-то-чно, oh, yes,
be chill!!

рѣфрѣнь

думка январская

нехай не прѡга и не бот,
и, это время уходящее
освободимши от свобод,
на «*ялюблю*» живородящее

нехай лорнет и наводил
и в новыйгод и в новолетие, —
у двéри — нет, не наследил
[лепя из тления — *наследие*]...

да и вдали не напылил
[не запылилось и сандалие]...

...достать [воистину!] белил —
и тупо ржать...
и так и далее

думка февральская

~~лести~~ мести салфетка-подковка —
да гнева орлиные брови
при* Notre-Dame de Paris,
полька-бабочка рюшей-обóр...
скверик-да-лавочка, может —
в Покровском Соборе Любóви,
радости [яже никто
не отнимет] — а Домский!! — Собор...

питерский гость ненаглядный —
в Соборе Московского Лета,
абриса Целый Исакий
[доболи-знакомый-такой],
мнóгая лёта печали...
купели немногая Лета... —
чтобы Невиданный Сад.
и [булгаковский] Вечный Покой.

* * *

на стыдобу подобья
[где ещё повезло б!]
што глядишь исподлобья
хмурия бездонный лоб

* пря́ — устар.: борьба, состязание; спор, прения, голос.

путь Узнаванья — светел
взглядывай же тудэм —
в окна с видом на ветер
в очи с видом в эдем

любовь

Апрель, апрель на улице!
А на улице февраль.
Дмитрий Сухарев

апрельская морзяночка
в февральской колыме
русалочка, марсяночка
[сама — ни бе ни ме]

порочная, тепличная
[ни мочи, ни ума]
барочная, столичная
весенняя зима

сплошное спотыкание
[канканы да пеньки]
в пролёте — утикание
[& лыжи & коньки]

шалеет и околица
от точек и тире
ершицца, колоколицца
и рыпацца харэ

стрекáцца, хорохорицца
[хоть зла её фрезá
не мстя она, а стóрица —
за твой мильонтерза...]

печалицца, сутулицца —
тика́й теки на огоньки
весна, весна на улице
весенние деньки

экспромт

может, ты, а может, я
[детки-фклетке-бытия,
мышки в пасти пустоты]
может, я, а может, ты

может, Вы, а может, я
[Змееносецъ и Змея,
звёзды Замысла канвы]
может, я, а может, Вы

мейби ай, а мейби ю
смерти ушлую шлею
чорной прорвы на краю
**евёртя на **ю

[на твоём и на моём
без свидетелей, вдвоём
как я рада / как я рад]
тем и строим Вертоград...

*похвостатее комет,
поп**датее драгмёт
помудрёней кастанёд —
может, мы, а может, нет

p.s.

нехай и суббота — не по судьбе
и неодолима засада лет
но всё ж-таки думаю о тебе
и чаще и много теплей, чем след

нет-нет и глянув накоротке
скрозь полуигру ли, полуигнор
глазкá [с морщинками в уголке] —
в твой недосигаемый эльсинор

Прозаик, публицист. Родился в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, автор книги «Диалоги о мировой художественной культуре» и нескольких сот журнально-газетных публикаций, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат ряда литературных премий, в том числе: Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея», премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Романы «И нет им воздаяния», «Свидание с Квазимодо» вошли в шорт-лист премии «Русский Букер». Роман «Любовь к отеческим гробам» вошел в шорт-лист 2001 года премии «Русский Букер», а также получил премию «Студенческий Букер», роман «Горбатые атланты» вошел в список трех лучших книг Петербурга за 1995 год. Член СП Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

НАЗВАННЫЙ СЫН

(Рассказ)

ПРОЗА

Сколько я ни вглядываюсь в годы твоей юности, ничего не могу разглядеть, кроме пышных слов. Школа гвардейских подпрапорщиков — звучит шикарно, Лермонтов за спиной, но за элегантной декорацией — измывательства над новичками, скачки на них верхом, пьянки в складчину... Не знаю, как ты справлялся с измывательствами, вроде бы откупался музыкальными уладами, но к зеленому удаву ты, похоже, пристрастился уже тогда. Лейб-гвардии Преображенский полк, — тоже звучит роскошно, да и рекрутов отбирали туда самых высоких и русоволосых. И, кажется, ты сумел вписаться в тамошние вкусы.

«Курносенький, с выпученными глазами, красненькие щечки, слегка курчавый, суций петушок и притом задорный». «Мундирчик с иголочки, в обтяжку, ножки вывороченные, волосы приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские. Манеры изящные. Аристократические, разговор такой же, немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами, несколько вычурными... Вежливость и благовоспитанность необычайные. Дамы ухаживали за ним. Он сидел за фортепиано и, вскидывая кокетливо руками, играл весьма сладко, грациозно и проч. И кругом его жужжали хором: «charman», «delicieux» и пр.».

Так о нем отзывался побочный сын грузинского князя, лучший композитор среди химиков и лучший химик среди композиторов. Знаю, что несправедлив к этому мощному дару, но я не прощаю непочтительности по отношению к моему — кумиру. Нет, это слишком попсовое словцо. Я люблю Мусоргского, как несчастного и гениального сына, с неиссякаемой нежностью и болью из-за того, что я не спас его от коньячной трясины. А потомок грузинских князей, ради казенного статуса записанный в купцы, что-то в голосишке этого петушка сумел-таки расслышать.

«Я был ужасно изумлен небывалыми, новыми для меня элементами музыки. Не скажу, чтобы они мне даже особенно понравились сразу: они скорее озадачили меня новизною. Вслушавшись немного, я начал оценивать и наслаждаться». Нет, надобно его все-таки простить, за то что он расплакался на посмертной постановке «Бориса».

С годами музыкальный химик и внешность несчастного гения начал оценивать по-новому: «Он порядочно уже возмужал, начал полнеть, офицерского пошиба уже не было. Изящество в одежде, манерах и проч. были те же, но оттенка фатовства уже не было, ни малейшего».

«Он был среднего роста, хорошо сложен, имел изящные руки, красиво лежащие волнистые волосы, довольно большие, несколько выпуклые светлосерые глаза. Но черты лица его были очень некрасивы, особенно нос, который к тому же был всегда красноват, как Мусоргский объяснял, вследствие того, что он отморозил его однажды на параде. Глаза у Мусоргского были очень мало выразительные, даже можно сказать почти оловянные. Вообще лицо его было мало подвижное и невыразительное, как будто оно таило в себе какую-то загадку. В разговоре Мусоргский никогда не повышал голоса, а скорее понижал свою речь на полголоса. Манеры его были изящны, аристократичны, в нем был виден хорошо воспитанный светский человек», — знаменитая пианистка.

«С виду Мусоргский напоминает Глинку; только нос у него весь красный (к несчастью, это от пьянства), глаза бесцветные, но красивые; и маленькие губы на крупном лице, жеманные во время игры. Мне он понравился; он очень естествен и не фразер», — это сам Иван Сергеевич Тургенев.

«Мусоргский — самородок, богатырь, имел внешность Черномора, он не прочь был и поюродствовать», — Репин.

Читаю и диву даюсь — как же они не видят, что в Мусоргском все дышит величием, даже его забулдыжный репинский портрет, для которого не хватило последнего, пятого сеанса.

Мусорянин долго и подвижнически шел к этим сеансам в Николаевском военно-сухопутном госпитале, куда его пристроили под почетным титулом вольнонаемного денщика.

«Оказалось, что с ним сделался удар. Доктор, который был тут же, помог ему, и когда нужно было уезжать, Мусоргский совершенно уже оправился и был на ногах. Мы поехали вместе. Подъехав к моей квартире, он стал убедительно просить позволить ему остаться у меня, ссылаясь на какое-то нервное, боязливое состояние. Я с удовольствием согласилась на это, зная, что если бы с ним опять что-нибудь случилось на его одинокой квартире, то он мог бы остаться без всякой помощи. Я отвела ему кабинетик и заставила прислугу караулить его всю ночь, приказав, в случае, если бы ему сделалось дурно, тотчас разбудить меня».

Но почему, почему рядом с тобой не нашлось заботливой, любящей женщины? Которая есть у любого жлоба, у коня, собаки, крысы?.. Почему ты всегда оказывался разве что приживалом при чужом очаге?.. Почему ты бравировал, что для тебя лучше повеситься или застрелиться, чем отдаться узам брака? Или дружба с каким-нибудь Голенищевым-Кутузовым, чье крошечное дарованьице ты обессмертил своим гением, могла тебе заменить любовь женщины? Дружба с Кутузовым, кому ты долго не мог простить его измены — женитьбы. («Я любил и люблю тебя — и только. Почему люблю — спроси свою художественную душу».) Но кто я такой, чтобы задавать тебе подобные вопросы? После них, кощунственных, я с особым благоговением склоняюсь перед любыми странностями твоей великой души, ибо понимаю, что только такая душа и могла породить твою грандиозную музыку.

Но что особенно грустно, и женщины отзывались о тебе, и ты к ним всегда обращался с сугубой нежностью: дорогие и хорошие голубушки мои, дорогие, милые, а то и милейшие барыни...

«Всю ночь он спал сидя. Утром, когда я вошла в столовую к чаю, он вошел также очень веселый. Я спросила о его здоровье. Он благодарил и отвечал, что чувствует себя хорошо. С этими словами он оборачивается в правую сторону и вдруг падает во весь рост. Опасения мои были не напрасны, — если бы он был один, то непременно задохся бы. Но тут его перевернули, тотчас же подали помощь и послали за доктором. До вечера было еще два таких припадка. С общего совета решено было предложить ему поместиться в больницу. Он долго не соглашался, непременно желая остаться у меня».

Так тебе, бедняжке, хотелось женского тепла и заботы...

«Наконец, его убедили. На следующий день его отвезли в карете в больницу. Сперва он начал поправляться, но потом ему сделалось хуже и хуже, и он скончался».

Но его музыка иной раз и мужчин возносила до пафоса: величайшее и последнее произведение «Хованщина», экстаз гения!

«Когда он кончил, глаза его закрылись, руки бессильно опустились. Нас всех пронизала сильная дрожь... Отчего? От напряжения? От страха? За кого? За Мусоргского? За Россию? Или потому, что мы увидели перед собой проявление божественной мощи в слабом и хилом человеке?»

«Мусоргский стал часто болеть... Во время уроков, рядом в столовой, стояло обычно его подкрепление, тарелка с грибами и рюмочка».

«Еще не дожив до сорока лет, уже дряхлеющий, болезненный на вид, все чаще и чаще ищущий в алкоголе утешения, подъема сил, забытья и вдохновения, быстро идущий к своей гибели, таков был перед нами несчастный Мусоргский».

И таков же был передо мною мой несчастный кровный сын — оттого-то я вас и путаю: вспомню тебя — вспомню и его, — и вы оба мои несчастные дети. Но моего кровного сына, выпившего из меня всю мою солнечную кровь и перелившего в мои жилы коктейль из желчи и уксуса, никогда не окружало такое благоговение.

«Все застыли на своих местах. «Модест Петрович, — решил наконец хозяин дома шепотом спросить Мусоргского, сидевшего в полном изнеможении за фортепиано, — не переночуете ли у нас?». Мусоргский метнул на него свои все еще горящие вдохновением глаза, и его возбужденное лицо на мгновение просияло доброй благодарной улыбкой. Но его рука поднялась с таким решительным прощальным жестом, что хозяин не осмелился повторить свое предложение. Даже и после его ухода никто не решался первым произнести слово...

Его смерть приписывали чрезмерному увлечению алкоголем. Что за вздор, что за кощунство! Даже если физиологически это верно, умер он под бременем превышающих человеческие возможности свершений, на которые обрекла его гениальность, и ... от нищеты».

Ты, мой кровный сыночек, к несчастью, не знал нищеты — она, быть может, и продлила бы твои дни. Ты был бы вынужден биться за кусок хлеба, не на что было бы упиваться отравой.

Последний раз перед последней болезнью его видели в трактире «Малый Ярославец», что на Большой Морской в двух шагах от арки Росси. Он был совершенно невменяем. Но все-таки громил музыкальных педантов: надо творить, творить! А потом поднял сонные глаза и неожиданно спросил коллегу-композитора: «А чем вы выводите пятна на визитке?» — «Я стараюсь их не делать». — «А я, знаете, зеленым мылом, прелестно выводит».

Затем белая горячка, Николаевский госпиталь, из коего до того уже успел удрать Кропоткин...

«У него оказалось расстройство печени, ожирение сердца, воспаление мозга».

Он был очень слаб, но разговаривал совершенно нормально, хотя и с бурными приступами бреда.

А презренное золото его добило даже в строгом военном госпитале. Хотя он уже вроде бы шел на поправку.

«Он требовал непременно, чтобы его посадили в кресло. «Надо же быть вежливым, — говорил он, — меня навещают дамы, что же подумают обо мне?»

«Хотя сторожам строжайше было запрещено доставлять больному вино, но Модест Петрович, доведенный болезнью до крайности, предложил сторожу за комиссию двадцать пять рублей, и тот соблазнился. За эти деньги несчастный больной и приобрел себе преждевременную кончину».

Паралич, «Все кончено! Ах, я несчастный!».

«При нем не было никого, кроме двух фельдшеров. Они рассказывают, что раза два он сильно вскрикнул, а через четверть часа все было кончено». На тумбочке осталось единственное его достояние — трактат Берлиоза «Об инструментовке».

«Любезности его не было пределов. Огромная часть петербургских концертов — особенно благотворительных — не обходилась без его участия: всюду можно было его видеть на эстраде, усердно аккомпанирующим артистам».

Ты, мой бедный кровный сыночек, был лишен и этой радости — дарить людям красоту. А ты любил это больше всего на свете. Но не умел собирать народ на такие пиршества.

Правда, умножающий друзей умножает и врагов. Недоброжелателей. Особенно, если ты не такой, как все, и даже не такой, как избранные.

Первые отзывы о твоих творениях, мой бедный названный сын, повергают меня в изумленную немоту: они что там, все были сплошь глухие?..

Чайковский Надежде Филаретовне фон Мекк («некрасивая, но характерная внешность») — о чем бы вы думали? О «Хованщине»! Претензия на реализм, жалкая техника, бедность изобретения, время от времени талантливые эпизоды, но в море гармонической нескладницы и манерности. Ответ миллионерши-железнодорожницы: «Мусоргский мне противен потому, что он не только нигилист, но он циник в музыке, как, должно быть, был и в жизни». Чайковский: какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость; кокетничает своей безграмотностью, гордится своим невежеством, валяет как попало, слепо веруя в непогрешимость своего гения.

Генералиссимус нацреализма В.В. Стоеросов, бородой перещеголявший самого Толстого, главному могучекучкисту Балагурову: «Я не слыхал у него ни одной мысли, ни одного слова из настоящей глубины понимания, из глубины захваченной, взволнованной души. Все у него вяло, бесцветно. Мне кажется, он совершенный идиот». Правда, это о молодости гения. Но пронизательность удивительная.

Правда, тугоухость — цеховое свойство музыкальных критиков. Это же он, ВВС додумался до клички Могучая кучка. Открыв дорогу в сочетании с другим своим прозвищем — Бах — нехитрому каламбуру: Бах — и образовалась Могучая кучка.

Хотя, если верить Репину, ему же, генералиссимусу, не раз приходилось выручать своего гениального друга, опускавшегося в его отсутствие на самое дно.

«Невероятно, как этот превосходно воспитанный гвардейский офицер, с прекрасными светскими манерами, остроумный собеседник дам, неисчерпаемый каламбурист, как только оставался без В.В., быстро опускался, распродал свою обстановку и даже элегантно платье, скоро опускался до каких-то дешевых трактиров, где уподоблялся завсегдатаям типа «бывших людей», где этот детски веселый бутуз, с красным носиком картошкой, был уже неузнаваем... Неужели это он? Одетый, бывало, с иголочки, шаркун, безукоризненный человек общества, раздушенный, изысканный, безгливый. О сколько раз, возвратясь

из заграницы, В.В. едва мог отыскать его где-нибудь в подвальном помещении, чуть не в рубище, распухшего от алкоголя...».

Ладно, так уж и быть, — за эти труды, за пробивание «Хованщины» генералиссимусу, прижившему внебрачную дочь в чужом браке, можно простить его дуболомность, перекрестивши ее в *простоту*. Русское, национальное, русское, национальное... Почему бы и нет, но зачем же воспевать русское и национальное громом пустого ведра! «Эти создания полились у него из-под пера могучим потоком», «один из лучших и высших алмазов всей русской музыки», «сопровождали своею любовью массы неподкупной, свежей, правдивой молодежи» — гязь, гязь!

Главмогучекучкист Цезарю с усвистывающей французской фамилией и мясистым носом русского профессора фортификации: «Он, должно быть, совсем рехнулся и превращается в тараканье?». Правда, это тоже о первых шагах. Когда особенно легко убить в творце веру в свои силы. Цезарь Фюи это и попытался проделать: незрелость, неразборчивое, самодовольное, спешное сочинительство...

Кажется, тебя, мой бедный Мусорянин, глубже всего ранило обвинение в самодовольстве.

«Безмозглым мало той скромности и нечванливости, которые никогда не отходили от меня и не отойдут, пока у меня мозги в голове еще не совсем выгорели. За этим безумным нападением, за этой заведомой ложью я ничего не вижу, словно мыльная вода разлилась в воздухе и предметы застилает. *Самодовольство!!! Спешное сочинительство! Незрелость!.. чья?.. чья?.. хотелось бы знать*».

Но насладимся же наконец твоим, а значит и моим торжеством. Равель: «Смелыми уроками этого "неумелого" композитора воспользовались многие из новейших авторов, которых никто не думает укорять в неумелости».

Кто-то хорошо о тебе сказал: враг себе и друг для всех.

Когда я листаю твои письма, я не вижу букв, вижу только сияние твоей детской души.

Вчера мне Стасов советовал на свадьбе заглянуть невесте под корсет, я восстал против этого, и эта оппозиция была причиною двухчасовых рассуждений о таинственных частях женского тела и о характеристиках пикового туза — удачное название!

Состояние души после смерти вещь очень интересная, меня всегда влекло в мечтательный мир.

Кремль, чудный кремль, я подъезжал к нему с невольным благоговением. Красная площадь, на которой происходило так много замечательных катавасий! Мне так и казалось, что сейчас пройдет боярин в длинном зипуне и высокой шапке. Знаете что, я был космополит, а теперь какое-то перерождение, мне становится близким все русское, и мне было бы досадно, если бы с Россией не поцеремонились, я как будто начинаю любить ее.

Представьте, Берлин стоит на почве инфузорий, некоторые массы их еще не умерли.

Дух мой убил тело, теперь надо приниматься за всякого рода противоядия.

Народ, не чующий тех звуков, которые, как воспоминания о родной матери, о ближайшем друге, такой народ мертвец. Евреи подсказывают от своих родных, переходивших из рода в род, песней, глаза их разгораются честным, не денежным огнем <...>.

Живу я ноне в «Хованищине», как жил в «Борисе», я тот же Мусорянин, только строже стал к себе после успеха.

Постройка «Хованищины» вот как кипит!

Вступление к «Хованищине» почти готово, рассвет на восходе солнца красив. Выработка идет изрядная, шесть раз отмеришь и один раз отрежешь: нельзя иначе, таково что-то внутри сидящее подталкивает на строгость. Подчас рванешься, ан нет, стой! Внутренний повар говорит, что суп кипит, но на стол подавать рано — жидок будет, может, придется еще корешок какой или соли подкинуть. Ну, повар лучше меня свое дело знает: жду.

Это-то его ожидание критический генералиссимус и обозвал упадком, уменьшением и ослаблением его «творческой деятельности». Его-де сочинения становятся туманными, вычурными, а иногда даже бессвязными и безвкусными. То есть недоступными для этого громокипящего пошляка. Главные черты Мусоргского народность и реальность... Да не реальность, а божественность, тупица ты этакий!

Я купаюсь в водах «Хованищины», заря занимается, начинают видеться предметы, подчас их очертания — это хорошо. Киснуть от неудачи не умею. Скверно и досадно, а копошусь все дальше и дальше, такая уж природа копотливая...

Копошиться на этой земле тебе предстояло еще больше восьми лет, но гениальную «Хованищину» ты так и не завершил, почитатели сшивали из клочков, соорудили три разных финала... Меньше нужно было проконьячиваться в трактире «Малый Ярославец», хочется тебя попрекнуть, но кто я такой, чтобы быть судьей гению! Я вправе судить только нашего с Колдуньей Ангелочка. Ведь я его породил...

Да, милый друг, так, именно так следует относиться к исторической драме. Вчитаться, пронюхать, по всей подноготной прошествовать и перекинуть мозгами, да не раз, не два, а и сотню раз, — буде сподобится.

Хотелось бы зваться другом, а остаться надлежит чиновником. С утра назавтра работа спешная.

Помощник столоначальника Казарменного отделения — это тебе не хрен собачий!

Когда затеял музыкальную драму, стал разборчивее по части своих мозгов, а шесть тысяч листов дела лежат.

Против меня в Министерстве завелась пошлая интрижка; не мытьем, так катаньем пронять хотят. И проняли. Только на поверку-то вышло, что, замученный, я прелесть какую хорошую вещь для «Хованищины» придумал.

Если не произойдет громкого переворота в складе европейской жизни, буфф вступит в легальную связь с канканом и задушит нас остальных. Наша аудитория — это последние из могикан. Как бесчеловечно переполнены все каким-то мертвящим, удушающим газом! Господи, сколько жертв, сколько болей поглощает эта чудовищная акула — цивилизация!

Поговорим о скромном мире художества, запремся на малое время в уютный уголок и из него, близкие жизни и людям, но далекие трескучим тирадам о праве, свободе, протесте, глянем жизни смело в глаза.

Был человек пузом, есть человек пузо и пребудет человек пузом, что делать! Ну, стало быть, Мусорянин, за работу!

Дача превосходна до того, что деревья крадутся в окна и, кажется, хорошее что-то наештыывают. Но нервы иногда мучают.

Кто-то сказал: надо же такую удачу Мусоргскому, что ли ни предпримет в музыке, немедленно возникают ожесточенные споры. Тем лучше, жизнь дана для того, чтобы жить, а искусство живет и растет только в борьбе с теми цадиками, которые мнят устроить из него нечто вроде талмуда 2-го издания, — верховные жрецы опрокинутых идолов! пресловутые сизифы!

Отчего, скажите, когда я слышу беседу юных художников — живописцев или скульпторов, я могу следить за складом их мозгов, за их мыслями, целями и редко слышу о технике — разве в случае необходимости. Отчего, не говорите, когда я слушаю нашу музыкальную братию, я редко слышу живую мысль, а все больше школьную скамью — технику и музык. вокабулы.

Это мой названный сын. А мой сын кровный ненавидел слово прием. За рассуждения, на каком приеме построен роман, он мог убить. Себя, разумеется. Роман должен быть построен на боли. В борьбе с которой он и убивал себя всю свою сознательную жизнь. Как и мой сын названный. Потому мне никак и не удастся отделаться от мысли, что душа моего названного сына переселилась в тело сына кровного. Пройдя через такие мытарства, что все земное ее стало терзать и унижать. А невыносимее всего — патологоанатомы, распоряжающиеся на конкурсе красоты. И о своих палачах мой кровный сын не мог шутить — в отличие от сына названного, хотя его в тысячу раз больше доставали симфонические попы со своими талмудами 1-го и 2-го издания.

Быть может, я боюсь техники, ибо плох в ней? Однако же за меня кой-кто постоит в искусстве и по этой части. Я, например, терпеть не могу, когда хозяйка про хороший пирог, приготовляемый, а в особенности съедаемый, говорит: «милльон пудов масла, пятьсот яиц, целая гряда капусты, 1501/4 рыб»... Ешь пирог, и вкусен он, да как услышишь кухню, так и представится кухарка или повар, всегда грязные, отрезанная голова каплушки на лавке, распоротая рыба на другой, а иногда и рядом, чья-то кишка выглядывает из решета, (словно пруссаки почтили посещением), а чаще представляется засаленный фартук, сморканье в него, в тот фартук, которым потом оботрут края блюда с пирогом, чтобы чище было... В зрелых художественных произведениях есть та сторона целомудренной чистоты, что начини грязною лапою возить, — мерзко станет.

Моему кровному отпрыску понемногу и все земное стало мерзко. Даже обожаемые книги он перестал читать: земное и там оставалось земным, сколько его ни преображай. Только одну музыку он и переносил. Только ею и спасался. Хотя бы обретал передышку.

В Одессе был в двух синагогах на богослужении и пришел в восторг.

А из «Хованицы» осталось дописать маленький кусочек сцены самосожжения, и тогда она вся готова.

Но жить тебе оставалось чуть больше полугода. А я больше полувека грызу локти, что не могу подарить тебе тройку-пятерку оставшихся мне годков для завершения и сшивания беспорядочных «кусочков». Кто знает, какие еще божественные мысли и звуки могли на тебя снизойти! С мучительным сопротивлением я могу признать, что ты все ж таки не самый великий из великих. Но никто так, как ты, не умел соединять иллюзию естественности и красоту.

РЕАЛИСТ В ВЫСШЕМ СМЫСЛЕ

(Феномен Ф. М. Достоевского)

Творчество **Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881)** — одно из вершинных достижений русской классической литературы — справедливо уподобляют космосу. Созданный писателем художественный мир столь грандиозен по масштабам мысли и чувства, глубине духовных проникновений, что представляет собой своего рода необъятную вселенную.

Феномен Достоевского заключается в том, что интерес к нему во всем мире не только не ослабевает, но со временем все более возрастает. Ведущие университеты Западной Европы, США, Японии и других стран уже давно и достаточно глубоко изучают творчество великого русского классика не только на факультетах филологии, но и философии, психологии, юриспруденции, социологии, смежных дисциплин. Но в своем Отечестве Достоевского-пророка вспоминают по преимуществу в годы «круглых» дат. С сожалением приходится признать, что Россия в этом отношении выступает в парадоксальной трагикомической ситуации «сапожника без сапог», оставляя труды своего выдающегося соотечественника, равно как и многие другие духовные ценности, на периферии общественного сознания. В то же время освоение открытий писателя может принести не умозрительные, а практически насущные результаты для создания прочного духовно-нравственного фундамента современного общества.

В своих трудах Достоевский остро поставил ряд кардинальных для человечества тем и проблем: какова природа добра и зла; как уживаются в душе человека стремление к саморазрушению и самовосстановлению — «идеал содомский» с «идеалом Мадонны»; в чем сущность и назначение жизни; как преобразовать мир на основах духовности, нравственности, уважения достоинства личности; как соединить в нераздельное целое справедливость, законность, правосудие. Ответы на эти и другие

«вечные» вопросы, над которыми издревле бьется человеческое сознание, выдающийся художник и мыслитель оставил в своих произведениях, которые сегодня воспринимаются как пророчество, провозвестие, как дар и задание непрестанного совершенствования.

«Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей», — говорил Достоевский. Он выражал твердое убеждение в том, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле». В новом тысячелетии современное человечество живет все теми же грядущими упованиями. «А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час все бы сразу устроилось! — утверждает писатель устами героя своего «фантастического рассказа» «Сон смешного человека» (1877). — Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же!» Выраженный в предельно простой и всякому понятной форме христианский идеал, заповеданный в Евангелии, к которому обращается классик — «*возлюби ближнего твоего, как самого себя*» (Мк. 12: 31), — по высоте духовного задания оказывается до сих пор непосильным, недостижимым и непревзойденным. Новый Завет вечно нов и все так же принадлежит горизонту нездешнего бытия.

Исследуя духовную природу человека и состояние общества, писатель-пророк в своих открытиях предвосхищал будущее. Его предвидения и предчувствия подтверждаются движением истории. В. Ф. Переверзев в статье к 100-летию классика проводил мысль об острой современности его творчества в «в момент катастрофического разрушения» старого мира: «Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни <...> Читайте Достоевского, и вы многое поймете». Пережив в очередной раз катастрофическое разрушение устоявшегося, сегодня мы также можем присоединиться к этой оценке.

Хаотическое состояние капиталистической России в «наше зыбучее время», когда традиционные ценности и сами понятия о добре и зле начали меряться «аршином близорукой выгоды», стали размытыми, относительными, охарактеризовано в романе «Бесы» (1872): «точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул». Прочную опору в этом шатком мире писатель обрел в православной вере с ее идеалами жертвенной любви к Богу и ближнему, «потому что Православие — все». Эту отточенную формулу заносит Достоевский в свои записные книжки, хранящие столь же заветные мысли: «Нации живут великим чувством и великою, все освещающей снаружи и внутри мыслью, а не одною лишь биржевой спекуляцией и ценою рубля»; «В Европе — выгода, у нас — жертва...»; «Русский народ весь в Православии и идее его». Писатель усматривал в Православии не одну только догматику, но главное — живое чувство, живую силу: «Вникните в Православие, это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве <...> есть одно человеколюбие, один Христов образ — по крайней мере это главное».

Формально-показная, официозная набожность, во многом принятая в настоящее время, ведет к тому, что от Бога остается «мертвый образ, которому поклоняются в церквях по праздникам, но которому нет места в жизни». Об этом размышлял писатель в своем последнем романе «Братья Карамазовы» (1881). Герой романа — чистый сердцем и помыслами Алёша Карамазов — старается следовать евангельскому завету «раздай все и иди за Мной». В отличие от фарисействующих псевдопоследователей Христа, пытающихся с выгодой приспособлять «под себя» Божьи заветы, Алёша стремится к абсолютному идеалу — Христу: «Не могу я отдать вместо "всего" два рубля, а вместо "иди за Мной" ходить лишь к обеду».

Идейно-художественная система Достоевского в целом сформировалась на почве его глубоко религиозного мировоззрения. Основы христианского мировидения и нравственного развития личности изначально закладывались в традициях семейного воспитания. Русская семья имела утраченный ныне статус «малой церкви», где дом — храм; очаг — алтарь; семейный уклад — благочестие; идеал — любовь к Богу и ближнему; дружелюбие и взаимопонимание между чадами и домочадцами. Достоевский вспоминал: «...я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали Евангелие, чуть ли не с первого года». Самые ранние детские переживания религиозного характера писатель хранил всю жизнь. Он запомнил, как около трех лет отроду прочел при гостях молитву: *«Все упование, Господи, на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани мя под кровом своим»*, — чем привел всех в состояние радостного умиления; как в церкви мать причащала его, двухлетнего, и как «голубок пролетел из одного окна в другое». Возможно, эти первые сокровенные впечатления способствовали пробуждению у ребенка «нового, уже сознающего себя и мир человека».

Детская непосредственная религиозность, примиряющая веру с рассудком, впоследствии укрепилась осознанным убеждением. «Записная книжка» писателя содержит глубоко выстраданное признание: «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла».

В своей собственной семье Достоевский был нежным и заботливым отцом, талантливым педагогом и воспитателем, внимательным ко всем проявлениям детской натуры. Он делал все, «что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего можно было бы достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером». «Главная педагогия — родительский дом», — уверен писатель. Основой его воспитательной системы явилась религиозно-философская идея о человеке как «венце творения», об уникальности и неповторимой ценности каждой человеческой личности. О своем первенце — дочери Соне — Достоевский писал поэту А. Н. Майкову в мае 1868 года: «Это маленькое трехмесячное <создание>, такое бедное, такое крошечное — для меня было уже и лицо, и характер». В очерке «Фантастическая речь председателя суда» (1877) читаем: «у ребенка, даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство». Этот тезис получил глубокую разработку в трудах Достоевского задолго до принятия Всеобщей декларации прав человека (1948), где в первой же статье утверждается право каждого на достоинство от рождения: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства».

Указанный декларативный призыв к мировому сообществу до сих пор остается нереализованным благим пожеланием. Во многом потому, что во главу угла человеческих взаимосвязей ставятся товарно-денежные отношения, расчет, эгоистический интерес, что в свою очередь влечет подмену Бога ложными кумирами и бездушными идолами. Служение «золотому тельцу» неизбежно ведет к звериным установкам типа «глотай других, пока тебя не проглотили», в итоге — к духовно-нравственному одичанию и вырождению.

Современное прочтение романа «Братья Карамазовы» — художественного и духовного завещания писателя — показывает, что его тревожные предчувствия сбываются с поразительной точностью. Вот одно из текстуальных подтверждений: «не исказился ли в нем <мире. — А. Н.-С.> лик Божий и правда Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство

и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай" <...> И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных — зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. <...> куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навывдумывал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше».

Ни наука, ни социальные реформы не способны вывести человека и общество из разъедающего состояния всеобщей уединенности. На бессилие рациональных, прагматических подходов, их духовно-нравственную несостоятельность указывал писатель: «Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделить в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга». Достоевский предупреждал о том, что поглощенность материальными интересами, рост индивидуализма и катастрофический распад личности при утрате высших идеалов и веры в Бога приведут человечество к антропофагии (людоедству).

Духовное начало, «искра Божья» — первостепенное, что выделяет человека среди других существ. В то же время «сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека». Писатель справедливо полагал, что для становления личности одного разума, образованности недостаточно, поскольку «образованный человек — не всегда человек честный и что наука еще не гарантирует в человеке доблести». Более того — «образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит».

Родителям, наставникам, учителям — всем тем, кому доверено воспитание юных душ, — необходимо постоянно заботиться о самовоспитании и самодисциплине: «ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих». «Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже, — говорил писатель. — И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают лучше нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают душу нашу». В «Братьях Карамазовых» выражена заветная мысль об особенной, «еще в ангельском чине», природе ребенка: «Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой». Все это обращает к евангельской заповеди «Будьте как дети». Христос говорит ученикам: *«если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»* (Мф. 18: 3).

Писатель следил за религиозно-нравственным формированием своих детей и указывал на громадное универсально-воспитательное воздействие Священного Писания: «Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества». На пороге инобытия он читал детям новозаветную притчу о блудном сыне. И умер с Евангелием в руках. Новый Завет, провожая писателя в вечность, открылся на словах Христа: *«не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду»*.

Современники Достоевского сохранили воспоминания о его отношении не только к собственным, но и к чужим детям. Их судьбы постоянно тревожили сознание и душу: «Дети — странный народ. Они снятся и мерещатся». Христианское воспитательное credo Достоевского получило многообразное воплощение в письмах, дневниках, заметках, публицистике; наиболее глубокую разработку — в художественном творчестве, во всех без исключения произведениях. Можно утверждать, что творчество писателя в целом — своего рода «религиозно-педагогическая поэма».

Так, «Подросток» (1875) — в полной мере «роман воспитания». Главный герой — вступающий в жизнь юноша Аркадий Долгорукий — поработен ложной идеей «стать

Ротшильдом». Он считает, что «деньги — это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество». В черновиках к «Подростку» охарактеризована ситуация, на почве которой вырастают идеи преступной наживы: «Треснули основы общества под революцией реформ. Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы добра и зла. <...> Нынче честно не проживешь». В то же время, по убеждению писателя, «основные нравственные сокровища духа, в основной сущности по крайней мере, не зависят от экономической силы». Подросток постепенно освобождается от маниакальной цели обогащения, достигаемого любыми способами. В стремлении к праведной жизни происходит «восстановление падшего человека».

В «Подростке» и «Дневнике писателя» Достоевский исследовал также проблему «разложения семейного начала» и пришел к выводу, что «случайность современного русского семейства <...> состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. <...> самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи — есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, — но порядка».

С утратой общей идеи и идеалов также изнутри подрывается лад современной семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство, материнство, детство — духовно опустошаются, становятся лишь правовыми категориями и терминами Семейного и Гражданского кодексов. Отношения в семье зачастую строятся не на незыблемом «камне» духовно-нравственного фундамента, а на «песке» формальной юридической связи сторон брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного права и т.п. Если нет глубинной духовной опоры, скрепляющей семейный очаг, то семья неизбежно становится ненадежной, зыбкой, «случайным семейством» — по определению Достоевского.

«Больные» вопросы: «как и чем и кто виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите» — с особенной силой поставлены в «великом пятикнижии» («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»). Среди основных идей последнего романа — сокровенная мысль: достижение мировой гармонии «не стоит <...> слезинки хотя бы одного только <...> замученного ребенка».

По воспоминаниям известного русского юриста, литератора и общественного деятеля А. Ф. Кони, Достоевский «безгранично любил детей и старался своим словом и нередко делом ограждать их и от насилия, и от дурного примера. <...> Но с детьми для юриста связан, помимо святой задачи их защиты от насилия и нравственной порчи, еще один из важнейших и труднейших вопросов <...> — о применении к ним уголовной кары». Знаменитый адвокат настоятельно советовал коллегам-юристам сверяться в своих решениях с Достоевским: «...всякий, кто захочет вдумчиво подвергать детей карательному исправлению, не раз должен будет искать совета, разъяснения, поучения на страницах, написанных их <...> другом и заступником».

Посещая колонию малолетних преступников, Достоевский приходит к выводу о том, что именно «зверски равнодушное» отношение государства и общества к молодому поколению вытравливает в юных душах «всякие следы человечности и гражданственности». Писатель нашел «недостаточными» имеющиеся в арсенале юридической системы «средства к переделке порочных душ в непорочные».

«Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов,

сказывающийся в сознании собственной совести», — размышлял Достоевский в романе «Братья Карамазовы». Свои чаяния он выразил устами «русского инок» старца Зосимы: «...если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего».

Утрата веры в Бога и бессмертие, заглушающая голос совести, ведет к преступной теории «все позволено», к власти «элиты» над «муравейником», «слабосильными бунтовщиками», которые под конец «станут послушными». «Покорное стадо» не в силах вынести свободы, а значит — и нравственной ответственности, данной Христом, и принесет эту свободу к ногам «избранных». В легенде Ивана Карамазова о «великом инквизиторе» этот наследник Римской империи строит свою власть на «чуде, тайне, авторитете» — на всем том, что отверг Христос, преодолевая дьявольские искушения. Инквизитор по-прежнему манит людей идеалом Христа: «...мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя мы уж не пустим к себе». В действительности власть отреклась от Бога и служит силе, противоположно направленной: «Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! <...> мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными».

Именно антихристианское, языческое римское право лежит в основе современного российского законодательства. Сегодня вдумчивые ученые констатируют неразработанность в праве аксиологических и антропологических подходов. По справедливому суждению современных правоведов, «в правовой науке мы привыкли заниматься непосредственными "замерами" правовых явлений: преступности, деликатности, знания права населением и т.д. <...> Наше право все более вырождается в наукообразное законодательство <...> Отечественное право должно измениться. Юриспруденция, построенная на римских <кабальных> формулах, должна обрести новую творческую форму в русском правовом психологизме, выразителем которого был Ф. М. Достоевский». Вопросы, поднятые в творчестве классика, — «об абсолютном праве, об отношении права к вечным ценностям — к вере, Истине, справедливости» — не могут и не должны оставаться на задворках общественно-правового сознания.

Современная Европа, считает Достоевский, пошла по пути «великого инквизитора»: «...во многих случаях там церквей уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство». Церкви в государстве отводится «как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, — и это повсеместно в наше время в современных европейских землях». В том же направлении развиваются нынешние российские государственно-церковные отношения.

Путь православной России, по Достоевскому, должен быть иным: «По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более».

В дискуссии о церкви и государстве старец Зосима, несмотря на скепсис оппонентов («это, стало быть, осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии. <...> Прекрасная утопическая мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и проч.»), выражает несомненную веру в преобразование жизни: «Правда, <...> теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преобразования из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предвидении Его и в любви Его. И что по расчету человеческому может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях».

Одна из важнейших в системе идей Достоевского — мысль о личной нравственной ответственности каждого за состояние собственной души и за судьбы целого мира: «...всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов <...> И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже не в мечте, а в самом деле». С точки зрения писателя, заниматься социально-политическими преобразованиями прежде христианского преобразования души человеческой — все равно, что ставить телегу впереди лошади: «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства».

На упреки в утопизме писатель отвечал, что он лишь «реалист в высшем смысле». Все сбывается по Достоевскому. Жизнь подтверждает глубокую правоту его заветных идей. Писатель оставил неординарные и не легкие для исполнения заветы: не дать «низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию святой и великой»; «войти в борьбу» с «ужасными впечатлениями», «мрачными картинами», «искоренить их и насадить новые» — «чистые, святые и прекрасные». За прошедшее время значимость этих задач несколько не уменьшилась.

Опыт писателя по религиозно-философскому, социально-психологическому, этико-эстетическому осмыслению проблем бытия — «Жажда правды и права», как формулировал Достоевский, — по-прежнему требует серьезного освоения и может сыграть неоценимую роль в духовно-нравственном развитии наших соотечественников.

ХРУСТАЛЬНАЯ ПРОЗА КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО

(К 130-летию писателя)

ЧАСТЬ 1

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) — замечательный русский писатель, мастер новеллы, короткого рассказа, продолжатель чеховских и бунинских традиций. Именно Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — «спокойный, тонкий, задушевный», по отзыву Паустовского, — предсказал в нем появление большого писателя, когда тот в молодости отправил свои стихи на отзыв Бунину: «Думается, Ваш удел, Ваша истинная поэзия — в прозе...»

«Поэзия — в прозе» стала собственным неповторимым голосом Паустовского. Этот голос звучит негромко, непафосно. И в то же время мощно, в полную силу проявляется в нем великая любовь к родине — любовь человека русского «до последней прожилки»: «Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре — и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть даже во сне, но полюбил всем сердцем. Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки. С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля. Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара»^{*}.

Паустовский родился в Москве, жил и учился в Киеве. В молодые годы сменил множество профессий: репетитор, вожатый и кондуктор трамвая, санитар, репортер и, наконец, писатель. Он очень много путешествовал по Советскому Союзу и по всему миру. Паустовскому, по его словам, «не давала покоя "муза дальних странствий"» (40). Поначалу его манила пестрая экзотика необыкновенных стран. Но постепенно это увлечение прошло: «С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. <...> С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте» (42–43). В то же время углубление реалистического метода изображения жизни не означало для Паустовского отказа от романтического восприятия действительности: «Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики, и никогда от нее не уйду — от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее покоя» (42).

^{*} Паустовский К. Г. Собр. соч.: В 9 т. — М.: Худож. лит., 1981. — Т. 1. — С. 48. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием номера страницы.

Диковинный блеск жарких стран потускнел для писателя после его близкого знакомства с русским севером: «Я был захвачен севером сильнее, чем югом. Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту» (47).

Но самым «плодотворным и счастливым», по признанию Паустовского, оказалось для него близкое «знакомство со средней полосой России»: «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещорском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда. Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места» (48). Главные из этих произведений — «Мещорская сторона», «Повесть о лесах», «Дым отчества», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».

Притягательность прозы Паустовского — в ее искренности, лирической проникновенности, в умении писателя впитать в себя каждую малость любимого уголка родной земли «в его ошеломляющем и таинственном разнообразии», из которого слагается гармоничный строй единого целого: «я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной — со всей своей грустью, спокойствием и простором, — как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из летнего колодца, каждое деревце над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха, каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу»; «я убедился в банальной истине, что ничто — даже самая малость — не проходит для нас даром».

«Зоркость к красоте», подобная фетовской (*«Целый мир от красоты,/От велика и до мала»*), позволяет Паустовскому сердцем постигать истинную внутреннюю красоту родного края, отличную от наружной экзотической красоты. Каждая зарисовка согревается лирическим чувством. Даже небольшие этюды, наброски с натуры подтверждают, что писатель-пейзажист обладал редкостным даром одухотворенной словесной живописи. В его палитре богатство красок, тонкость полутонов, прозрачность цветосветовых оттенков. Русская земля под пером Паустовского живет, дышит, благоухает ароматами разнотравья, звучит шелестом листьев, пением птиц, журчанием хрустальных родников, говорливыми переливами лесных речушек. И стуком взволнованного сердца автора. Вместе с ним благодарный читатель также становится причастником этого дивного Божьего устройства лика земли в бесконечном разнообразии красоты. «Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина», — с восхищением отзывался о своем современнике Паустовский. Слова эти в полной мере можно отнести и к нему самому.

Произведения Паустовского знакомы многим чуть ли не с раннего возраста, хотя, возможно, не все впоследствии припомнят имя автора. Сказки и маленькие рассказы для детей влились в большую прозу писателя как полноценная ее часть. «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Подарок», «Созвездие Гончих Псов», «Жильцы старого дома», «Растрепанный воробей», «Кот-ворюга», «Заботливый цветок», «Барсучий нос», «Заячьи лапы» и многие

другие произведения для юной читательской аудитории — светлые и милые, занимательные и трогательные, поучительные без всякого менторства и нарочитых назиданий. И главное — бесконечно добрые ко всему живому, существу. Писатель-сказочник хочет, чтобы дети росли добрыми и думающими людьми. Он убеждает своего юного читателя в том, что добро не просто приходит на помощь, а может творить настоящие чудеса.

В то же время сказки и рассказы Паустовского для детей не сентиментально-умиленные. Зачастую здесь происходят события остродраматические, полные риска, опасностей. Так, в рассказе «Заячьи лапы» старик-охотник чудом не погиб при ужасающем лесном пожаре: «Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня». Спасти человека, которого уже настигала гибель от огненного урагана, помог обыкновенный зайчонок. Он выскочил из-под ног старика, и тот устремился за животным, потому что как опытный житель лесного края знал, что «звери гораздо лучше человека чувствуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: "Погоди, милый, не беги так-то шибко!" Заяц вывел деда из огня». У зверька обгорели лапы. Он стонал, «плакал и часто моргал красными от слез глазами». И дедушка решил во что бы то ни стало вылечить своего спасителя, в свою очередь спасти его от смерти.

Сельский ветеринар не захотел оказать помощь такому странному пациенту, даже посоветовал зажарить обгорелого зайца на обед. Но старик не отступил. Он отправился в город на поиски хорошего доктора, отыскал знаменитого детского врача и упросил его вылечить «особенного зайца»: «Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!»

История о взаимном спасении зайца и человека получила известность. Знаменитого зверька даже хотели купить за немалые деньги, но старик не продал своего лесного друга: «Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле».

«*Чувства добрые*», отзывчивое и чуткое сердце — суть творческого бытия Паустовского. Устами одного из своих героев (повесть «Колхида») он утверждал, что «человек должен быть ласковым с другим человеком». Писателю желалось, чтобы это гуманное умение быть ласковым распространялось не только на людей, но и на животных, птиц, растения — на всю природу с ее живой душой. Именно ласковость, доброжелательная отзывчивость, бережное и чуткое отношение к окружающему миру становятся *животворящим началом* творчества Паустовского.

Он очень ответственно и даже трепетно относился к созданию произведений, в том числе в жанре сказки. Таинственные моменты творческого процесса писатель приоткрыл в своей книге «Золотая роза» (глава «Животворящее начало»): «сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.

И наконец наступает тот час, когда сказка заносится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы» или изобразить живой бархат трепещущих крылышек бабочки. Паустовский признавался: «Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыль, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения».

Неслучайно писатель создал несколько рассказов, герои которых — знаменитые сказочники Ганс Христиан Андерсен, Александр Грин, любимые во всем мире. Их книги дарят людям надежду, светлую радость. Продолжают жить в памяти и в сердце читателя: «Сказка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно».

Однако личная судьба фантазеров, романтиков, мечтателей-сказочников подчас горестна, тяжела и даже трагична. Это противоречие раскрывается в новелле Паустовского «Сказочник (Александр Грин)»: «Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывали легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика».

*Голос твой — пенье задумчивой сказки,
Сладкая боль небывалой весны...*

В новелле «Ночной дилижанс» (в сборнике «Золотая роза»), посвященной Андерсену, приводятся его слова, сказанные незадолго до смерти одному молодому писателю: «Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности. Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали».

Еще один рассказ «Сказочник (Христиан Андерсен)» повествует о знакомстве семилетнего Паустовского с датским королем сказки: «Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века. Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья». Это был «сон наяву» под новогодней елкой после знакомства с книгой андерсеновских сказок, полученной в подарок. Ребенок не просто читал, но очарованно «зачитался»: «Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья. <...> Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги».

Гораздо позже писатель понял: «мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чужак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом».

ЧАСТЬ 2

Паустовский — настоящий мастер в жанре литературного портрета. «Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества» (49), — объяснял писатель. Его интересуют место искусства в обществе, судьба таланта, гения посреди обычной жизни.

С необыкновенным лирическим проникновением воссоздает Паустовский духовный облик своих незаурядных героев — замечательных художников слова: «Наш современник (Пушкин)», «Поручик Лермонтов», «Тарас Шевченко», «Чехов», «Поток жизни (заметки о прозе Куприна)», «Александр Блок», «Алексей Толстой», «Иван Бунин», «Булгаков и театр» (с Михаилом Булгаковым Паустовский учился в гимназии), «Михаил Михайлович Пришвин», «Виктор Гюго», «Ги де Мопассан», «Оскар Уайльд», «Эдгар По»; выдающихся живописцев: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Грузинский художник» (о Нико Пиросманишвили); прославленных композиторов и музыкантов: «Старый повар» (о музыке Моцарта), «Корзина с еловыми шишками» (об Эдварде Григе), «Музыка Верди» — и многих других выдающихся людей.

Здесь проявляются не только горячие симпатии писателя к его гениально одаренным героям — истинным творцам сокровищ мировой культуры, но и собственные эстетические предпочтения и художественные установки автора. Бесспорно, сам он обладает выдающимся даром тончайшего словесного рисунка, чтобы передать впечатление от полотен великих художников. Паустовский наделен также развитым «писательским слухом», подобным слуху музыкальному, чтобы описать волшебную музыку любимых композиторов.

Писатель отдает себе отчет в том, что «невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык». Однако эстетические ситуации, как например, в рассказе «Корзина с еловыми шишками» свидетельствуют о стирании граней между творящей силой искусства, гармонией музыки и вдохновленного ею слова: «Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. <...> Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря! Стекланные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыржавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песка. <...> музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды. Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья».

Создавая свою прозу, Паустовский, согласно его признанию, добивался впечатления «глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством». Произведения о выдающихся мастерах мировой культуры отличаются особой гармонией, изяществом, блеском, игрой и утонченностью формы — всеми чертами, свойственными истинным художественным шедеврам.

«В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от неизвестного автора "Слова о полку Игореве" и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много. Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть» (50), — признавался Паустовский.

Сама эта жизнь, «простая и значительная», определяла выбор большинства героев, встреченных писателем в российской глубинке. В очерке «Дорожные разговоры» он с душевной теплотой подмечал: «Есть у нас в России много маленьких городов со смешными и милыми именами: Петушки, Спас-Клепики, Крапивна, Железный Гусь. Жители этих городов называют их ласково и насмешливо "городишками"». Населяющие эти городишки, села, деревушки обычные люди, ничем, на первый взгляд, непримечательные, становились героями рассказов и очерков писателя: «Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях — своих закадычных друзьях» (50).

Хорошо знавший Паустовского писатель Виктор Платонович Некрасов (1911–1987) утверждал, что «самое интересное в рассказах Паустовского — это, безусловно, были люди. Видал он их, знаменитых и не знаменитых, за свою долгую жизнь великое множество и в каждом умел найти что-то свое, особенное. Может быть, кое-что он даже и придумывал, присочинял, но придумывал это художник, человек талантливый, поэтому получалось хорошо и интересно».

О «легком вмешательстве вымысла» в реальную действительность не раз говорил и сам Паустовский: «Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем. С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены» (43). Реалистическое изображение обыденной жизни, самых непритязательных, обычных людей всегда оваяно у писателя романтической окрыленностью: «Во всех областях действительности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики. Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека» (45).

В автобиографической статье «Несколько отрывочных мыслей» — предисловии к первому Собранию сочинений — писатель указал на главную особенность созданного им художественного мира и на важнейшее свойство своей личности: «Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность. Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности, — нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством» (45). О самой сути своих любимых героев пишет Паустовский: «Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни» (42).

Такую «облагораживающую силу» находит писатель в «обыденной трудовой жизни» своих «закадычных друзей». Один из них — мальчик Вася Зотов, живший на озере Сегден в Мещорском крае. Об этом деревенском подростке, смышленном, пытливым, любознательном, Паустовский писал не раз, изображая своего маленького приятеля под разными именами в рассказах «Подарок», «Акварельные краски», «Записки Ивана Малявина», в повести «Мещорская сторона» и других произведениях.

Так, в рассказе «Лёнька с Малого озера» веснушчатый двенадцатилетний мальчишка — житель деревушки, расположенной среди дремучих лесов, — помогает найти дорогу заблудившемуся среди лесных болот рассказчику, когда уже «приближалась ночь — волчья ночь в болотах, полная треска сухих ветвей, шороха капель и невыносимого чувства

одинокости». Сам же мальчик бродил допоздна в этих глухих местах в поисках метеорита, падение которого наблюдал накануне ночью: «вдруг что-то как полыхнет через все небо. Гляжу — метеор. Пролетел низко над лесом и упал где-то тут, за холмищем. Гудел сильно, как самолет».

Автор-повествователь сдружился со своим провожатым: «С тех пор я подружился с Лёнькой. Я любил бродить с ним по лесам: он знал все тропы, все глухие углы леса, все травы, кустарники, мхи, грибы и цветы, он знал голоса всех птиц и зверей. Лёнька, первый из многих сотен людей, которых я встречал в своей жизни, рассказал мне, где и как спит рыба, как годами тлеют под землей сухие болота, как цветет старая сосна и как вместе с птицами совершают осенние перелеты маленькие пауки. Они летят, прицепившись к паутине, когда дуют ветры на юг, летят десятки километров».

В своих неприметных героях писатель видит не просто природную сметливость, но и необыкновенную тягу к знаниям, к интеллектуальному и духовному развитию. Лёнька самостоятельно собрал радио, отыскал осколок «падучей звезды». Он проявляет себя как настоящий юный исследователь, много читает, размышляет. Мать поддерживает сына: «—А все Ленкино дело, — сказала она и, очевидно, улыбнулась в темноте. — Такой беспокойный, такой жадный все знать — надо быть, в отца пошел. <...> Семён у нас <...> Все для людей... Остатнюю корку другим отдаст, сам будет одними книжками сытый».

С теплотой рисуя своих простосердечных героев, Паустовский в то же время нисколько не приукрашивает их бытовой уклад, не скрывая суровой правды. В автобиографическом очерке «Несколько отрывочных мыслей» была сформулирована принципиальная авторская установка: «писательство — это и труд, тяжкий и расточительный, что даже одна-единственная крупинка правды, утаенная писателем от людей, — преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит. Страдания и радости всех людей становятся делом писателя» (46).

«Крупинцы правды», мелькающие в произведениях Паустовского, показывают, насколько тяжела была жизнь простых советских людей-тружеников, особенно в глубинке. Их вечный удел — бесконечный изнурительный труд на работе и дома: «Летом Лёнька вместе с матерью пахал, копал огород, сеял, убирал сено. Семён работать не мог: <...> мучил затяжной сухой кашель». Но этот тяжкий труд не спасает от вековой нужды, бедности на грани нищеты. Вот показательный диалог Лёньки и его матери:

«— Где тебя носит, черт шалый? — сказал за дверью сердитый женский голос. — Только сапоги даром треплешь.

— А я разумись, мамка, — ответил мальчик».

Дети из глухих деревушек ходили в школу пешком за много километров, часто даже с риском для жизни. Так, Лёнька «каждый день бегал в школу за десять километров». Зимой он «выходил из дому в темноте. Колючие звезды дрожали от стужи, трещали сосны, снег скрипел под ногами, и у Лёньки сжималось сердце: как бы не услышали волки. Зимами волки подходили к самому озеру и жили в стогах».

Трудное советское детство подтверждается невыдуманными рассказами о пережитом, живыми воспоминаниями многих нынешних пожилых людей. Так, моему старому доброму знакомому Виктору Семёновичу, которому сейчас пошел уже 85-й год, в детстве приходилось ходить из своей деревушки, затерянной в глубине калужских лесов, до поселковой школы даже не десять километров, как Лёньке в рассказе Паустовского, а вдвое больше. Сорок километров в день до школы и обратно ежедневно проходить не под силу не только ребенку, но и подростку-старшекласснику. При школе для маленьких учеников из дальней округи был интернат с едой и ночлегом. А детей постарше родители утаивали по чужим

домам на постой как квартирантов. Кормиться они должны были сами, питанием школа не обеспечивала. Ученики всегда сидели в классе полуголодные. Поэтому очень хотелось побывать дома хотя бы на единственный выходной день.

И вот раз в неделю, после уроков в субботу, Виктор преодолевал пешком расстояние в двадцать километров от школы до родной деревушки. Но и дома перевести дух не получалось. Надо было помогать матери по хозяйству: натаскать побольше воды из колодца, нарубить дров для печки. И уже на следующий день, в воскресенье после обеда, — снова шагать двадцать километров обратно до школы, прихватив поклажу с нехитрой домашней снедью — в основном, с картошкой, — чтобы как-то пропитаться еще неделю.

Зато до сих пор Виктор Семёнович вспоминает свои школьные уроки и то, как был впечатлен чеховской пьесой «Вишневый сад». Настолько, что в нем на всю жизнь зародилась мечта вырастить когда-нибудь такой прекрасный сад самому.

Став водителем экскурсионного туристического автобуса, он исколесил весь Советский Союз. Довелось повидать множество замечательных мест необъятной страны. Но не покидала мечта о вишневом саде. И она почти воплотилась. Большого сада, как у Чехова, не вышло — слишком невелик дачный участок. И все же на нем красуются несколько вишневых деревьев...

Так и в героях Паустовского — безвестных тружениках, бескорыстных, душевно щедрых простых людях — все испытания, пережитые опасности, ежедневные трудности не умаляют мечты о прекрасном будущем — о жизни, какой она может и должна быть для счастья всех без исключения людей. Это *прекрасное далеко* — «удел ищущих и мечтателей» (45).

Писатель сосредоточен на «самом заветном», что есть в человеке. Рисуя литературный портрет другого художника слова — М. М. Пришвина (1873–1954), Паустовский выражает и свою собственную писательскую позицию: «Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает суть человека, та мечта, что живет у каждого в сердце, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача! А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как свою мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния и уж конечно не выносит прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно поверить свою мечту».

Таким «единомышленником безвестных наших мечтателей», несомненно, был Константин Георгиевич Паустовский. Его хрустальная проза — с ее обаянием, силой и чистотой писательских побуждений — наполнена волнующим и радостным предчувствием счастья.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

ПАРОДИИ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ И ДР. ПОЭТОВ

АХ, МАТОВОЕ

*На писательских дачах для прошлых теней
Я всю ночь подбираю слова.*

Алексей Ахматов

На писательских дачах стареют дубы,
Отдыхающих всюду молва.
Люди ловят ершей, собирают грибы.
Только я подбираю слова.
От Сосноры ищу их, блуждая в пути.
Бродский много тут слов разбросал.
Но Ахматовой если б словечко найти,
Я б такое бы вам написал.

МЕЧТАТЕЛЬНОЕ

*Гордясь призванием поэта,
не без лирической тоски
я рифмовал и то, и это,
приподымаясь на носки...*

Николай Голь

Жизнь мною прежняя воспета,
играл я в рифмы, как в лото,
рифмуя то, рифмуя это,
и гонорар имел за то!
И осуждать меня не смейте,
Что помыслы мои низки.
Но чтобы пародист заметил —
приподымаюсь на носки.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ

*Я, как взрывчаткою шахид,
бедой, проблемами обвязан.*

Евгений Степанов

Признаюсь — накопил обид,
живу не валко и не шатко,
но изнутри я, как шахид,
и весь мой организм — взрывчатка.
Поэтому прошу — со мной
не стоит спорить слишком много,
а то взорвусь — и в мир иной
у вас появится дорога.

В любом увлеченном человеке, в хитросплетениях его занятий и достижений можно заметить своеобразную нейронную сеть, связывающую воедино многие его творческие устремления, которые, несомненно, влияют друг на друга — иногда непосредственно, чаще опосредованно, но достаточно тонко... Спортсмен и тренер Александр Гумённый достиг многого в области пауэрлифтинга, но при этом давно пишет стихи, публикуется, и вот, наконец, первая книга — как первый подход... серьезный неспешный комплексный подход к новому отбору и выстраиванию текстов, с новым взглядом на них, с осознанием и учетом — перефразируя название книги — всех этих сложных связей и взаимовлияний текстов друг на друга, сети вселенной на тексты, поэта на тексты и на вселенную... с рождением нового опыта, который тут же начинает взаимодействовать с поэтом, влияя на стратегию поэтического мышления через некие речевые акты, с игрой стиховых синапсов...

Предполагаю, что связанная с минимализмом поэтическая стратегия Александра Гумённого происходит и от лаконизма четких спортивных задач своего вида спорта, и от желания удержать внимание читателя, быстро листающего странички соцсетей, и — возможно — от недостатка времени или — напротив — от достаточности для автора такой малой формы... чтобы переключаться с физического на интеллектуальное, с грубоватого на нежное, с общего на детальное — на поэзию, которая, канонически возвышая в пафосе по-древнегречески или «остранняя» по Виктору Шкловскому, в любом случае, возвращает силы, элементарные физические силы, но добавляя к ним еще и новые эмоции, и осознание находок в движениях мысли, образа, нюансов иронии и так далее... ибо, как чувствует лирический герой книги, «...ПУСТОТА более / реальна / момента / в котором / пробивается / мысль» («Время зависло»)... бежать «пустот», так или иначе... или тривиальностей, клише... Отсюда и опусы автора — довольно разные и по форме, и по идеям. Поэт как бы говорит нам, что минимализм для него носит не концептуальный характер, например, минимального верлибра или афоризма; для Александра Гумённого минимализм — это всего лишь категория объема.

Однако в многолетней верности этой категории как таковой автор не уступает многим коллегам-поэтам, избравшим это направление... Чуть более длинные тексты единичны: «Время зависло» (начало и вовсе намекает на классическую катренность), «Из стиха в стих»... Обратим, кстати, внимание на строгие трехстопные размеры в «Ожидании»... Наконец, и сам приснопамятный 4-стопный ямб, «надоедавший» еще Александру Пушкину, применен в одном из посвящений поэту и философу Константину Кедрову («Аура»), основателю ДООСа. В ДООСе — Добровольном Обществе Охраны Стрекоз, учрежденном Кедровым еще в 1980-е годы, — Александр Гумённый состоит в звании пауэрзавра... Естественно здесь и влияние текстов поэтов-ДООСов, и наличие нескольких им посвященных миниатюр в этой книге...

Особый философский концепт книги состоит в своеобразном прохождении через «нуль» — как через инициацию или испытание — многих мотивов, их «обнулении» через «пустоту», в олицетворении нуля, в его взаимодействии как с квадратом пикселя (от Казимира Малевича?), так и с единицей — по сути, со своей противоположностью... От этого часто «без загогулин мышления / нуль впадает в депрессию...» («Квадратизм нуля»). Такова, видимо, «рефлексирующая / беспредметность», еще одно олицетворение уже не цифры, но целого направления в истории визуального искусства — констатация в двустии-двусловии автора, приводимого здесь полностью («Иная мысль»). Очень многое у автора живет своей жизнью, и это один из подходов поэта к своей поэтической вселенной — называть, наблюдать, наделять... Другой подход, другой вектор стратегий, сосуществующий с предыдущим, — ощущение себя как продолжения частей компьютера, его «тела» и частей этого тела, — все это восходит к банальной проблеме и философии искусственного интеллекта, однако в подходе поэта приобретает оригинальные личностные черты, и об этом тоже подумаем далее...

Во вселенной есть не только некое нуль-пространство, но и строго пульсирующие квазары, и свободно разбегающиеся туманности... Аналогичное наблюдаем в книге Александра Гумённого — широкий диапазон форм на малых пространствах, не покушаясь на галактики, читай — поэмы и циклы... Хотя в сумме многие миниатюры книги подобны звездным скоплениям или созвездиям — так они влияют друг на друга, и все это я попытаюсь объяснить далее...

Автор иногда использует палиндром — строгую форму, концептуально противостоящую свободной форме верлибра. Откровенное палиндромное название («Инет и тени») и отдельные палиндромические буквенные строчки перекликаются в книге с (полу)палиндромом стиховым. Стихотворение по строкам «читается сверху вниз и снизу вверх» (примечание автора к тексту «Искусство»), подобно тому, как «король рифмы» XIX века Дмитрий Минаев писал пародию на стихотворение Афанасия Фета, когда — говоря лингвистически — тема и рема меняются местами... а по образам стихотворения это отсылка уже к сюрреализму, и тут тоже проявляется элемент Кедровской концепции формального выворачивания/инсайдаута. Недалеко от этого находим и более «конкретную» картинку почти от Сальвадора Дали: «в затылке дверь / астральная иногда...» («Другая дверца»), которую заливают «монтажной пеной». Или «кто-то думает мной / хорошо бы узнать — / кто?!» («Кто»). Или «слово постриженное / налысо обрастает...» («Верлибр»).

Да, действительно, в книге много верлибров. Поэтов-минималистов, избегающих силлаботонику, справедливо называют верлибристами... но для принципиального верлибра в миниатюрных формах очень важно избежать рифмы, ибо в миниатюре рифма сильнее видна (и слышна) — относительно более протяженных текстов. Но это не концептуальная проблема для поэта Александра Гумённого, свободно открывающего ворота или порталы для приходящих к нему образов, форм, техник... в том числе, с привлечением спонтанных рифм, естественных как для обыденной речи, так и для тонких игр со словом...

Отметим более или менее явные рифмы в следующих миниатюрах автора: «Серьезная шутка», «Случай», «Просто я», «Никак», «Театральная площадь», «Иногда», «Обновление», «Другое»... Есть рифмы единичные («Слова», «Переход»), рифмы более последовательные («Диаграмма»), графически уточняющие форму... И даже когда «...рифма иссякла / привнес исчезновением / естественность восприятия / без макияжа» (в миниатюре с названием «Без рифм!»), сама рифма как таковая не иссякает, ибо, формально говоря, три строки составляют тут комплекс ассонансных рифм: иссяКла/восприЯтия/макиЯжа, с добавлением внутренней рифмы «привнесЯ». Все это отнюдь не придирки, не претензии — для поэта, для его принципиального подхода естественно не вдаваться в такие рифменные полумерца-

ния — да, практически безрифменные для поэта, он об этом не думает и думать не должен, иначе эти огоньки собьют с правильного пути свободно льющиеся поэтические пространства и подпространства, а вдаваться и пояснять — это задача других пространств — филологических...

Важно, что этот же пример позволяет включить в аналитический процесс третью сторону, помимо поэта и филолога, а может быть, это самая что ни на есть первая сторона — читатель. Да, для него такие рифмы — не рифмы, он их подсознательно сравнивает с большим объемом классических сильных рифм, — а в целом читатель наслаждается текстом как таковым и образами, непосредственно летящими к нему: читателю по большому счету все равно, как делаются стихи, — и это правильно, — по меньшей мере, все равно при первом прочтении, а этот факт — факт хотя бы одного прочтения — уже радует любого поэта. Другое дело, читатель с аналитическим складом... или читатель-филолог... Но это совсем другая тема, есть и поэты с таким подходом, с такой адресацией, к ним Александр Гумённый, конечно же, не относится. Как не относится он напрямую и к выделяемому критиками современным поэтам-минималистам, — в этой книге немало самых разных форм на стыке, а то и на синтезе приемов, техник, стиховых стратегий... Впрочем, и к этой (полу)рифме ассонансной — важной — еще вернемся...

Отсюда, при таком подходе к звуку, естественно прийти и удачным «сгущениям» — насыщенным сплавами звука и смысла строкам и сочетаниям, подобным такому: «ленивое тело-тюлень» лирического героя («Лето вдыхаю») или некое «исполинское тело исполнено» — чем? кем? просто «исполнено», и этого бывает достаточно (в миниатюре «Сегменты тела»). В целом, «тело» для автора это, как мне кажется, попытка (или интуитивный прием) через такое приземленное робкое «разоблачение» или показ на своеобразном подиуме книги (вспомним профессию автора) вдохнуть в поднадоевшую форму некий новый дух или душу, вернуть форме-телу первоначальную нежность, насытить свежими эмоциями, «сокращая расстояние / от мозга до сердца» (как в миниатюре «По ту сторону»), в конце концов, разобраться антропологически или по Осипу Мандельштаму, «...что мне делать с ним», с телом. Есть и вариант достаточно простого ответа в миниатюре «Штанга», которая «отвечает / взаимностью / изгибаясь всем телом...». Пауэрзавр вспоминает свою естественную среду...

Другой аспект расширения диапазона форм и ухода от прекрасного, но достаточно узкого пространства поэтики минимализма — это включение визуального элемента поэтики. Тексты Александра Гумённого здесь и там прорываются в «над», в метапространство визуальной поэзии или хотя бы ассоциаций с ее видами, формой, историей... Например, описание «это открытая книга / но не каждому / виден текст» («Квадрат Малевича») отсылает не только к художественному, но и к стиховому — к визуальности «Прекрасного зачеркнутого четверостишия» Владимира Казакова. А миниатюра «Диаграмма» напоминает о некоторых фигурных стихах Серебряного века...

Наконец, квинтэссенция визуальности, концептуальная противоположность верлибру — все тот же палиндром, с его подвидами — от бисерной буквологической техники, когда строка есть рифма в себе, аналогично «вещи в себе», до макропалиндромии — стиховой, семантической, хиазмической... Все это, наряду с вышеперечисленными формальными поисками, в том числе интуитивными, тоже пунктиром проходит через книгу Александра Гумённого.

На широкой палитре поэта, в противоположность палиндромии, есть и более тонкие моменты формы, и рифмы есть менее яркие, средние по силе, медианные рифмы, как я их называю; и часто эти рифмы более интересны, чем сильные, особенно если выстроены

в систему, пусть даже минимальную, пусть неосознанную, подсознательную для поэта, но это нисколько не умаляет, а, напротив, — только приумножает достижения интуиции автора: «винчестер разума / отформатирован / и белые страницы / поглощают остатки / желаний...» (ср. ниже сочетание «винчестер Бога» или текст «Память»). Может быть, кому-то покажется странным, но в этом полностью процитированном 5-стишии с названием «Сон» все стихи зарифмованы, а четыре стиха (кроме первого) объединяются в систему ассонансных рифм на основе строгой звукобуквенной пары А/И, с варьированием ударений... отформАтИрован / стрАнИцы / остАткИ / желАнИЙ... В целом такие стихи я называю интегральными, проходящими по граням и границам, сочетающимися в гармонии свойства многих компонентов форм стиха, смягчая острые углы явных форм, когда ни один из компонентов не бьет в глаза, когда элементы и уровни интегрированы друг в друга в «соитии», и тут снова вспоминается название книги... Перечитайте этот «Сон» еще и в книге — несложную по образам миниатюру из 5-ти строк, но насладитесь тонкой игрой ассонансов, усиливающей, наращающей к концу текста трагический нарратив.

И теперь от формы к смыслам... Вспомните, с какой категорией всегда ассоциировался сон?.. Правильно!.. Ассоциативное «переформатирование» такого рода, когда оно полностью сочетается с образом, не перечеркивая начальный заявленный образ, делает текст в целом глубже, — вспоминаются многие сюжеты и картины, тот же шекспировский «бедный Йорик», если угодно...

Один из пунктиров поэтики книги — спасительная ирония, вплоть до философской горечи или абсурда: «Камень», «Пиксель», «Лозунг», «Никак», «События»... Самоирония в миниатюре «Мигрень» переходит пунктиром в трагический сюр другой минитюры, с уточнением в названии «Пуговица и мигрень», «винчестер Бога / с гениальными / соседями» («010101010101 ДООС»).

А «винчестер разума», или «матрица», словно бы в следующих сериях — в одном из стихотворений / перевоплощений — переходит в состояние, когда «пиксели пробиты / робототехники сознания / дорисовывают реальность / но спасительна только / пощечина сужающая / действительность / до точки взрыва» новой вселенной (?) («Матрица присутствия»). И после этого — как диптих — миниатюра «Матрица отсутствия» с ее «деструкцией мышления» как вариантом почти постмодернистского тасования образов... В конце концов, «...настоящее кажется / фейком», то есть той же матрицей («Другое время стучится...»), — холодный формальный (или форменный) апокалипсис... Далее некуда?.. Почему же?! А вселенные новых «перезагрузок»?!. Но если, напротив, «дойти до самой сути» другого рода, до микрокосма этих пикселей или атомов стиха, то за каждым словом, за каждым стихом можно попытаться найти или объяснить некую правду перезагрузки строки...

Словостих, или словострок, отгороженный не штакетником слешей, как тут в тексте статьи, но воздухом или вздохом белого пространства, как далее в книге (отсутствие пунктуации здесь только на пользу), — словно этаж или кирпичик здания стиха, точнее, конструктора поэта, который пытается по-детски и по-своему воспроизвести наблюдаемое пространство и цепь событий в нем, чтобы хотя бы назвать, номинировать, разобраться, что есть что в этой вселенной, навалившейся на «винчестер разума» его... в надежде на его «перезагрузку», когда слов «необходимых / оказалось больше / чем знал ранее» («Перезагрузка»). Язык, как любовь, по-Библейски «все покрывает» и «не ищет своего»... разве что, по той же технике хиазма или инсайдаута, ищущего своего поэта... в свою очередь, ищущего смыслы поэзии всюду, цепляющегося за них — спасительных, и это его выбор, его подход как поэта, открывающего (ся) миром: «я забываю значения / слов / но слова не забывают / меня» («Слова») — хиазм, не распинаящий, не пригвождающий своей фор-

мой, но соединяющий, спасительный, ведь «череп человека... равен вселенной», по словам того же Малевича. И здесь тоже вариации «тела», несколько подтрунивающего над подобным пафосом: «неровности черепа/в витиеватости мысли / объем мозговой субстанции / от весомости взглядов...» («Остаточные проявления»). И вот — на качелях коннотаций — квинтэссенция абсурда и иронии масштаба космизма: «на совковую лопату / хорошо помещается мозг / и тяжесть веса / подбрось в небеса...» («График жизни»). Звукопись свистящих в земной атмосфере слов — сохранится ли она в небесах, если эти небеса насыщены вакуумом, беззвучием?.. Вопросы поэта, на которые отвечать читателю...

Это постоянное влияние «неба» как «высоты взгляда» (первая строка из концептуального «Конструктора любви» Константина Кедрова) не скрывается Александром Гумённым, открыто исповедующим идеи ДООСа и продолжающего образы из поэзии его основателя. По ходу книги вспоминается Кедровская метаметафора — «НАДметафора», охватывающая все уровни форм и миров сверху донизу в разных «...космах», в разных измерениях, в необычных столкновениях слов и образов, и тут телесно-человеческое, костное, но не косное, — те самые «черепа» — уже приобретают черты космического: «взмах век — это расстояние / между частицей и волной / уже другого мира» («Квант зрения»); «виртуальный плен глаз / прикосновений слова... / ... / губы — страдают светом» («Елиза_бред»). И тут еще один рефрен с использованием легких, но выразительных визуальных возможностей графики — знак подчеркивания пробела — как вакуума, из которого рождаются частицы на стыках слов при их «соитии»... как в одном из названий, вовсе уходящем в чистую визуальность, как бы ностальгирующую еще по графике 1990-х («0_0»). Метафоризируется и компьютерная мышь, и даже двоичный код, который, будучи воспроизведен отдельной строкой, переходит в разряд философии визуальности балансирования между или на грани, — Кедровское «ИЛИ», или, если угодно, — еще Аристотелевское... или удивительное наставление Феофана Грека Андрею Рублёву из фильма Андрея Тарковского: жить «меж великим прозрением и собственным терзанием», и это уже далеко не вакуум... Однако мы уходим в другие формы визуального искусства... А здесь необозначенная вакуумная середина, эта меж / межа на бумаге сквозит невидимыми слезами между цифр — «010101...» Под нулем и единицей, как в математической формуле, можно иметь в виду любые противоположные категории, будь то черные и белые клавиши рояля как банальная метафора жизненных удач / неудач, и далее — добро / зло, жизнь / смерть...

Любые столкновения противоположных образов, не имеющих никакой возможности существовать отдельно друг от друга, ибо только вместе, в «сумме», в этой последовательности нулей и единиц, в их дальнейшем варьировании заключены многие нюансы, недосказанные разветвления смыслов и ассоциаций. И все это достигается минимальными, но качественными приемами поэта — созданием «рамки» и «рамок» в целом на протяжении всей книги, и, в частности, «рамки» для этой цифровой последовательности в виде отдельных строк и названий с ней, а также повтором последовательности в разных контекстах, своеобразным мерцанием или пунктиризацией на холсте книги, его прошивкой во всех метафорических смыслах — *textus*/ткань. Например, на уровне медианной рифмы эту прошивку иллюстрирую выделением звукобукв таких соседних строк: «ВиНчестеР Ра'зуМА/отфоРМАти'РоВаН...» («Сон»). Р — разбегаются во второй строке после столкновения в первой... МА — МАтериализуется в предударной части после заударной... В и Н — неВиНно стоят по разные стороны, обозначая некую арку или сосуд для ВиНа формы... Кроме того, и на микроуровне идет переключка: эти ВиН/ВаН рифмуются по структуре с ТеР/ТиР. А уже эта пара является основой необычной диссонансной разнотональной рифмы на звуках Т (И)Р (А), когда гласные звукобуквы пульсируют, мерцают,

пляшут вокруг согласных: винчест (И)Р РА'зума / отформаТИ'Р (А)ван; рифма, усиленная совпадением позиций ударения на 4-м слоге этого локального двустипия-шестисложника... Вот такие бисерные нюансы рассыпаны здесь и там по книге.

Возвратимся снова к гласным звукам, к ассонансам... В миниатюре «Память» ключевым словом — олицетворенным — является «диск» (жесткий, разумеется, но, возможно и диск к той же штанге), и это единственное односложное слово — диск — на концах всех 6-ти строк, оно же — это слово — составляет единственную мужскую клаузулу, образно говоря, хлестко бьет и звуком, и слогом, и метром — метрофоники, как я это называю: «во мне недавно умер / жесткий дИск / не выдержав давле'нИя / памяти став слИ'шком / толерантным И мя'гкИм / к информа'цИИ», цитируем полностью и выделяем интересующие нас тонкости метрофонии в позициях рифм. Относительно делений на строки у нас был диалог с автором, тут возможны вариации, но при всех этих вариациях заметна тонкая игра на ударном и безударном «и», впервые появляющимся в тексте именно на ключевом слове «дИск» (слышится и «Иск...»), связывающим текст воедино, вращающимся вокруг ударных звуков на мягких «женских» клаузулах (буквально — «...и мягким»), возвращающим слух читателя к слову «дИск», а в конце настоятельно повторяя — ... ии! Подсознательное шифрование аббревиатуры того же Искусственного Интеллекта (?)

Игра в бисер?.. Да, но с расшифровкой, с уточнением — интуитивное чувство слова, веселящегося в детских игровых формах в подсознании, но обузданного чувством формы поэта, но говорящего по-разному и по-серьезному, и все это тоже один из подходов поэта — в ряду обузданий по убеганию текста в длинноты...

И здесь будет вполне уместно объединение двух цитат от классиков XX века в единую формулу представляемой книги, в которой, смягчая нравы и плавно огибая углы пересечений дорог и троп, «женихающиеся слова» (Велимир Хлебников) «должны обнимать и ласкать друг друга» (Николай Заболоцкий)... При этом в голове читателя — в моей, по меньшей мере, — происходит естественное смягчение от такого «влечения», свет и тень тех же нулей и единиц (читай, всех контрастов) преобразовывается в книге в светотень, «порожки» в графике восприятия превращаются в синусоиды, в их комплекс, в сложную поэтическую личностную картину мира, в тот подход поэта, где пиксели минимализируются, смягчая контрасты, но все-таки не замыливая картину, где к пафосу примешивается ирония, а к быту — бытие как философская категория...

При всем при этом заявленный книгой подход поэта Александра Гумённого к Поэзии подобен первому минимальному — минималистическому — осознанию бесконечного пути познания мира и себя в этом мире с помощью стиховых форм, прирученных, обузданных, в которых — как и положено — должно быть тесно словам, зато...

...и далее — книга перед вами!..

Александр В. БУБНОВ,
доктор филологических наук

Евгений Минин, «Конфуций натошак»
Коллекция сатиры и юмора.
М.: Издательство Евгения Степанова, 2023

Евгений Минин — один из самых ярких и активных поэтов-пародистов современности. Постоянно печатается на 16 полосе в «Литературной газете», в журналах «Дети Ра», «Зинзивер» и во многих других изданиях.

Читатель знает Минина, прежде всего, как пародиста. Но он и очень интересный, самобытный поэт — его стихи неоднократно публиковались, например, в замечательном журнале «Урал».

И вот — новая книга стихотворений и пародий, которая вышла в 2023 году в Коллекции сатиры и юмора «Издательства Евгения Степанова».

Остановимся в данном случае на стихотворениях.

Я считаю, что если в книге есть хоть одно хорошее стихотворение — это уже прекрасный результат. В книге Минина хороших стихотворений много.

Едкий сатирик Минин на поверку оказывается нежным и открытым всем ветрам лириком и крепким профессионалом. В стихотворении «Латынь» — горький опыт многое повидавшего человека, который не желает принимать жесткие и жестокие порядки современного социума:

Вот и снова в дело пошла латынь —
Номо homini lupus est.
Не скажешь испившему крови: «Остынь!»
И что на земле, как в театре,
вдоволь свободных мест.

Номо homini lupus est (человек человеку волк)... С этим постулатом никак не согласен автор, верящий — несмотря ни на что — в светлое начало Номо sapiens. Главное для поэта — доброта, любовь к людям и «братьям нашим меньшим». Замечательно в этом смысле стихотворение, которое так и называется — «Доброта»:

Подобрали собаку на улице,
а коту принесли с помойки,
Мы сделали им прививки
и кормим неплохо, кстати.
А по ночам эта парочка
дрыхнет на нашей койке,
А мы с женою на коврике,
который возле кровати.

Все верно. Так и должно быть. Помощь ближнему — прежде всего.

Ироничные и светлые стихи Евгения Минина согревают душу читателя, который понимает: где-то далеко, в Иерусалиме, живет родная душа...

Фёдор МАЛЬЦЕВ

«Зинзивер»
(Санкт-Петербургский литературно-художественный журнал)
Издательство «Вест-Консалтинг»
(генеральный директор Евгений Степанов)
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 500 экз.
Сдано в набор 05.07.2023
Подписано в печать 15.07.2023